42374

СССР Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ШТАБ ★ Р.К.К.А.

НАУЧНО-УСТАВНОЙ ОТДЕЛ

А. ТОПОРКОВ

БИБЛИОТЕКА
ВОЕН.-ИСТОРИЧ. АРХИВ
Инв. №

МЕТОД ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ

БИБЛИОТЕКА ЦВИА

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Института военной истории МО СССР
Инв. № 42384

ИЗДАНИЕ
ВОЕННОЙ ТИПОГРАФИИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ НАРКОМВОЕНМОР и РВС СССР
1927

Ц1,6(2)
Т58

ВОЕННАЯ
ТИПОГРАФИЯ
УПРАВЛ. ДЕЛАМИ
НАРКОМВОЕНМОР
И РВС СССР
Пл. Урицк., 10.
Ленинградский
Гублит № 29137.
Тираж 5.000-12 л.
Заказ № 183.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
ОТ РЕДАКЦИИ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
1. Война, как социальное явление	9
2. Историзм	44
3. Конкретный характер военной мысли	76
4. Мысль и действие	94
5. Анализ	112
6. Непрерывность	132
7. Диалектический метод	152

ОТ РЕДАКЦИИ.

Наш командный состав, в отношении углубления своего образования, находится в чрезвычайно затруднительном положении, обусловленном не только одними внешними условиями, но и затруднениями внутреннего порядка, вытекающими из существа научной работы. Отсюда его мышление и деятельность и в своей специально военной области, обычно, не носят характера методологической цельности и законченности.

Предлагаемая комсоставу Красной армии книга А. К. Топоркова—„Метод военных знаний", явившаяся результатом его проработок в диалектическом кружке Военной Академии, руководителем коего он состоял в период 1922—24 г. г., может служить ценным пособием при самостоятельной работе командира по усовершенствованию образования.

Особая ценность книги тов. Топоркова состоит в том, что, не задаваясь специальным исследованием какого-либо момента военной истории в теории или практике военного дела, он рассматривает основные общенаучные вопросы и проблемы (анализ, непрерывность, диалектический метод и т. д.), без уяснения и разрешения которых невозможно не только установить наиболее целесообразный метод понимания будущей войны, но и разобраться в ворохе противоречий современной военной мысли. Наличие огромной волны военно-литературных трудов, появившихся после мировой войны, необычайный прилив новых понятий и мыслей в результате осознания боевого опыта, многообразие и разноречивость толкований одних и тех же вопросов и понятий, неопределенность и неустановленность исходных точек зрения даже в оценке крупнейших фактов войны—порождают потребность некоторых общих методологических установок и обоснований. Труд А. Топоркова, проводя ревизию учений некоторых военных классиков под углом сближения военной и общей

научной мысли и выдвигая диалектический метод уяснения процессов войны, дает основные методологические вехи к изучению военной литературы и организации действительно научных изысканий в области военного дела. В этом отношении особенно ценным в работе Топоркова является оценка и критика многих общих понятий, как анализ, аналогия, прикладной метод и др., в разрезе сближения военной и социально-политической мысли.

Труд А. Топоркова, выпукло отмечая ограниченность и убожество отдельных понятий (прикладной метод, аналогия, использование военной истории), вскрывает некоторые заблуждения военной науки, которые зачастую преподносятся многими военными писателями в качестве самых непререкаемых современнейших научных достижений, и которые, вследствие неосведомленности комсостава в современной критике понятий, имеют поныне широкое распространение. Так, например, военная наука и военная мысль всегда стремились отгородиться „китайской стеной“ от общей науки, от общественной жизни, обосновывая свои положения и нормы „специальной особенностью“ военного дела, его особенным „духом и характером“. Подобное убеждение особенно твердо господствовало в военной литературе наиболее консервативных и отсталых армий, в частности—в русской, где разрыв между общей наукой и военной мыслью достигал внушительных размеров, где сближение науки и практики никогда не было сильной стороной. А. Топорков с достаточной ясностью вскрывает зависимость военной науки от общего состояния экономики страны и от общенаучной мысли. Несомненно, военное дело получит высокое развитие, если единство его науки и практики будет оплодотворяться передовыми достижениями современной общей науки и техники, если деятели его, мысли и действия будут пользоваться диалектическим методом установления связи явлений и фактов.

В отношении формы нужно признать, что труд написан несколько отвлеченно и трудно доступен в первом чтении. Характер рассматриваемых вопросов, естественно, обусловил форму изложения, но за этой внешней отвлеченностью не следует забывать чрезвычайной конкретности и практического значения рассматриваемых вопросов для повседневной работы комсостава и его самообразования.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В этом небольшом опыте по методологии военных знаний я пытался сблизить мысль военного деятеля с мыслью технической, с одной стороны, и с мыслью социально-политической—с другой. Проведение этого плана не встречало больших затруднений в самом предмете, но дело в том, что эти задачи, втечение работы, осложнились желанием подвергнуть тому или иному критическому рассмотрению ряд смежных и параллельных течений, что, прежде всего, было обусловлено стремлением дать читателю некоторое понятие о существующей постановке вопроса; с другой стороны, сама военная литература в этом отношении богата весьма ценными мыслями, правда, редко сведенными в систему и методологически проработанными.

В соответствии с общей задачей, изложение придерживается теоретического плана, но в то же время мне хотелось бы подчеркнуть здесь, что обсуждение подобных вопросов имеет также и практический характер. В мирное время армия, главным образом, занята подготовкой к войне, и ее воспитание предполагает твердую позицию, занятую по отношению к вопросам методологии знания.

Как на войне, так и во время мира, военному приходится много думать. Военные задачи решаются с глубоким расчетом, а не на авось. Не маловажным представляется здесь, к каким методам мышления приучен военный деятель.

Ввиду небольшого объема работы, изложение дается элементарное, не столько в смысле популярности и легкости для чтения, сколько в смысле разъяснения лишь основных понятий и точек зрения. В особенности я сожалею, что мне не удалось подвергнуть обсуждению один вопрос, наиболее

интересный, — о коллективной работе мысли. Военная мысль, по самому существу дела, является максимально коллективной, ведь только в этом случае она может определять действия; ныне войну ведут многотысячные армии. Но от выполнения этой задачи пришлось отказаться, ввиду ее большой сложности; во всяком случае эта проблема может быть триктована лишь по выяснении основных вопросов.

ВОЙНА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.

1.

Предлагаемая работа отнюдь не является главой из общей социологии. Все же, в самом начале, необходимо указать, что война, прежде всего, есть социальное явление и может быть осмыслена только как таковое. Совершенно безнадежной была бы попытка разобраться в военном опыте, если мы не станем принимать во внимание социальную его природу и будем рассматривать его вне тех закономерностей, которыми он обусловлен.

В настоящее время это положение настолько стало популярным, настолько разносторонне уясненным, что еще раз доказывать и показывать его являлось бы делом излишним.[1] Это положение ныне звучит скорее как общее место, с которым легко соглашаешься, но которое и скоро забываешь. Это положение весьма легко принимают, но, к сожалению, и до сих пор весьма часто склонны игнорировать следствия, вытекающие из него; поэтому нам необходимо так или иначе на нем остановиться, показать к какому пониманию военного дела оно приводит.

Прежде всего должно быть ясным то, что оно отрицает.

Распространено и достаточно укрепилось мнение, что военное дело есть прежде всего техническое и практическое. С известной точки зрения это действительно так. Война есть техника, способ практического воздействия. Деятельность военного может быть, во многих отношениях, сравниваема в особенности в настоящее время, с деятельностью врача и с деятельностью инженера.

Ныне военное дело индустриализируется, армии машинизируются, ныне военное дело переживает ту революцию,

---

[1] См. Фр. Энгельс. Анти-Дюринг (глава о насилии).

которую промышленность пережила в конце восемнадцатого века и в начале девятнадцатого, оно переросло формы ремесленные и принимает формы технической индустрии. В сражении действуют теперь далеко не только одни люди со своими „инструментами“ — ружьями, саблями, пиками, но также и разнообразнейшие военные „машины“; и одна из самых трудных задач современной тактики состоит в том, чтобы согласовать эти два фактора, человека и машину, и придумать такие формы их совместной практики, чтобы их военная работа была наиболее производительной, т.-е. максимально достигающей нужного эффекта; отсюда задача комсостава становится вполне аналогичной деятельности директора, инженера и мастера на заводе или на фабрике. Война есть, действительно, техника и ныне более, чем когда-либо. Как бы ни было справедливо это утверждение, тем не менее оно очень часто весьма извращенно истолковывалось, в него вкладывали совершенно неподходящий смысл.

До Мировой войны военное дело, казалось, было монополизировано людьми „военными“, которые во многом противополагали себя людям „штатским“.

Как для такого понимания, так и для такой монополии имелись достаточные общественные предпосылки.

Военное дело, в той форме, которую оно получило, казалось, является каким-то пережитком средневековья, унаследованным из далекого прошлого нашей промышленной культурой. [1] Этот пережиток плохо согласовался с общими тенденциями намечаемого развития. И действительно, военный мир, там где он получил наиболее яркое выражение, как, например, в Германии, был проникнут феодальными, средневековыми элементами. Феодализм и дух касты отделяли дело военное от других областей культуры, так что получались порой, действительно, курьезные последствия.

Ведь отделение всегда взаимно, поэтому в широких кругах населения о войне и военном деле или не знали ровно ничего, или были распространены, главным образом, нелепейшие шовинистические взгляды, вернее лозунги, которые, будучи политически подогреты, порой производили тот или

[1] См. рассуждения „Спенсера в его Социологии“ о военном и промышленном типе общества.

иной эффект. Серьезно военным делом редко кто интересовался за пределами военной среды. Любопытно, что рассказывает о самом себе известный немецкий историк военного искусства Дельбрюк.

В предисловии к четвертой части своего труда Дельбрюк изображает трагедию штатского писателя по военным вопросам: в глазах окружающих он стал, так сказать, ни павой ни вороной. Его одинаково не признавали своим ни работники на поле социальной и культурной истории, ни военные деятели.

Хотя его основные тезисы звучат ныне почти тривиально, в свое время они фактически были парадоксами, т.-е. противоречили в корне наличной действительности и резко расходились с уровнем тогдашнего понимания.

„Понимание взаимодействия между тактикой, стратегией, государственными установлениями и политикой бросает свет на связь, проникающую в различные стороны всеобщей истории, и многое проясняет из того, что раньше представлялось темным, или же в чем плохо умели разобраться“.

„Этот труд написан не ради военного искусства, но в интересах всемирной истории. Если военные по специальности прочтут его и что-нибудь почерпнут из него, то мне это будет очень приятно и послужит мне к чести, но написан он историком и для интересующихся историей. Военное искусство есть такое же искусство, как живопись, архитектура или педагогика; вся культурная жизнь народов в высокой степени определена их военными установлениями, которые в свою очередь связаны с техникой военного дела, с тактикой и стратегией. Все стоит во взаимодействии друг с другом“. „Познание каждого отдельного явления, в данном случае—военного искусства, требует познания развития человечества в его целом“.

Эти положения, выраженные в столь общей форме, звучат ныне почти как общие, легко приемлемые места. „Но,— прибавляет Дельбрюк—нужна была большая смелость и борьба, чтобы добиться признания, что на этом пути можно чего-либо достичь. Даже Леопольд Ранке, когда я ему стал излагать свой план, решительно его отверг. Факультет, к которому я ныне имею честь принадлежать, ставил мне препятствия при получении ученой степени, мотивируя это тем,

что военное дело лежит вне компетентности университетов. Теодор Моммзен, когда я ему передавал первый том моего труда, довольно-таки глубоко входящего в разбор древней, в особенности римской, истории, поблагодарил меня, но выразился в том смысле, что едва ли время позволит ему прочесть эту книгу. С другой стороны, против меня был генеральный штаб. Никто не мог быть допущен до преподавания в военной академии, кто так или иначе был известен, как мой ученик".

Нельзя более ярко изобразить разорванность, атомизацию научной работы вообще и изолированность военной мысли в частности, а также все трения, которые отсюда проистекали.

Подобные факты стоят в резком противоречии с теми требованиями, которые выдвигались самим военным делом. Говорили и повторяли на всевозможные лады, что вести войну ныне призван весь „народ", что военное дело должно быть национализировано.

Крайне было распространено своеобразное „народничество" в военной идеологии, которая, однако, была отделена глубоким непроходимым рвом именно от „народа".

Ввиду такого положения дела, сами военные деятели все более и более привыкали смотреть на себя только как на весьма узких специалистов по военной части. Общая политика страны ставила определенные цели и намечала задачи, военные люди должны были разработать и подготовить те средства, которыми эти цели могли бы быть достигнуты, если дело дойдет до вооруженного столкновения. Все более и более суживалась военная мысль, ее внимание было сосредоточено на тактике, на частных решениях частных задач. Кто-то другой должен был позаботиться о ресурсах войны, как материальных, так и моральных. При будущем Мольтке предполагался всегда свой Бисмарк, как бы в виде естественного придатка.

Задача военной теории стала сводиться к тому, чтобы создать наиболее действительный технический прием для полной победы над врагом. Эта идея естественно увлекала. Разве не отпадут все другие задачи, раз подобная решительная победа будет достигнута. Победа, в конце концов, стала представляться, как сила, решающая все. При этом

победа всегда понималась чрезмерно узко, как победа в определенном месте, в определенной битве; хотели одним жестом поставить на колени врага, совершенно упуская из вида, что разбитые армии легко могут возрождаться, что окончательная победа означает дезорганизацию всей жизни страны, а не только окружение, прорыв или охват.

Чрезмерная узость военной мысли отразилась не только на теории, но и на практике. В мировую войну, вопреки всем теориям и ожиданиям, победа не была достигнута мифическими Каннами, она окончилась совершенно иначе,— разложением побежденных армий (русской, турецкой, болгарской, австрийской и немецкой). Непобедимые Гинденбург и Людендорф, несмотря на все их тактические лавры, несмотря на все частные победы и успехи, далеко не оказались на высоте общих более высоких задач, они были бессильны и бездеятельны там, где им необходимо было действовать не только решительно, но и целесообразно.[1] Людендорф прямо и слепо подрывал деятельность политических руководителей страны, которые с своей стороны противодействовали его замыслам и начинаниям. Власть останавливала власть, и дело не могло не кончиться общим поражением.

Ныне, мне кажется, эта чрезмерно узкая точка зрения военспеца окончательно преодолена. Военное дело, не переставая быть техническим и специальным, в то же время не может быть рассматриваемо вне связи с самими условиями своего существования; эта связь и эта зависимость крайне существенны для самого ведения войны; нет задач чисто военных, которые в то же время не были бы задачами социальными, ибо война есть прежде всего общественное явление.

С другой стороны, само понятие техники существенно изменилось.

Ныне от военного деятеля требуется не только, чтобы он был хорошим специалистом в своем деле, но также

---

[1] „Можно с уверенностью сказать, что я по натуре не политический деятель.

Может быть, для этого слишком слаба моя способность к политической критике, а может быть, слишком сильно во мне развито чувство солдата. Последняя причина объясняет мое отрицательное отношение ко всякой дипломатии" (Гинденбург. Воспоминания. Русский перевод 1922 г. Стр. 25).

хорошим организатором и социальным инженером; управление современными армиями требует развития особых навыков, способностей и знаний.

Настоятельно поставлена задача вместе с машинизацией армий согласовать по возможности труд человека с машиной, ибо без этого согласования невозможно их целесообразное употребление. Фронт ныне рисуется нам в виде единой, хорошо организованной фабрики.

В военной литературе чуть ли не со времен Макиавелли склонны были противопоставлять человека и машину. Уже введение пороха как бы уничтожало личную отвагу и доблесть. Трус, прячущийся за бугорком, мог легко подстрелить издали смельчака, смело идущего вперед, и в настоящее время существуют тенденции заменить человека машиной и качественно и количественно; хотят сократить численность армии и самый срок службы довести до минимума и как бы переложить всю тяжесть войны на бездушные и безгласные машины.

Подобная точка зрения едва ли может быть приемлемой. На войне техника часто оказывается просто громоздким придатком к живой силе, если люди не умеют ее как следует использовать.

Так, например, в русско-японскую войну скорострельная русская пушка обслуживалась обученным еще по-старому личным составом. Многие офицеры не умели еще обращаться с угломером, не знали присланных по мобилизации орудий новой системы. „Сама по себе новая материальная часть давала русской армии только бумажное приращение сил. Только десятилетняя работа над новой материальной частью и вынесенным из Манчжурии опытом, рациональное энергичное переобучение офицерского состава в артиллерийской школе позволили русской армии извлечь из нового технического средства полную мощь“. [1]

Но не только в русской армии были подобные печальные явления несогласованности; теми же изъянами страдала, например, и армия французская перед Мировой войной.

Гаскуэн в своей книге [2] отчетливо показывает, что французы плохо знали как положительные, так и отрицательные

[1] Свечин. История военного искусства, часть III. Стр. 46.
[2] Эволюция артиллерии во время Мировой войны.

стороны своего оружия, они применяли его ошибочно, не изучили, как следует своих технических средств, что вело к весьма печальным результатам. Так, например, французы могли бы иметь уже в 1915 г. 1.000 — 2.000 полевых 120-*мм* пушек, если бы они применили подвижной лафет, сконструированный майором Мурсе за несколько лет до войны и испытанный в Бурже в 1914 г. Но генеральный штаб не учел всего значения этого лафета Мурсе ни до 1914 г., ни даже во время войны. Изобилие вопросов материальной части было таково, что французский генеральный штаб к концу 1914 г. оказался перегруженным.

Еще к более печальным результатам вело запрещение стрелять из 75-*мм* орудий по дальним дистанциям. Как в высших военных кругах, так равно и на батареях не было верного взгляда на те возможности, которыми обладает материальная часть артиллерии. „Грешили не пушки, а люди“, вполне правильно заключает Гаскуэн. [1]

Если в промышленности исправление „погрешностей людей“ и правильная организация их работы дают поразительные порой результаты (пример—заводы Форда), то в военном деле это имеет еще большее значение, потому, что погрешности людей сказываются здесь еще более отрицательно. Столь возросшие технические и военные средства парализуются немощью и неумелостью человека. Грешат не пушки, а люди.

2.

В военной литературе существует издавна сложившееся мнение, что решающим фактором на войне является так называемый „моральный фактор“, что техника и материальная часть сами по себе еще мало значат.

Но понимание того, что такое „моральный фактор“ в военной литературе, — нужно это признать, — развито крайне слабо. Причиной этого является игнорирование социальной стороны всякой военной практики.

Русские военные деятели слишком часто рассчитывали на „дух“ своих войск, и этим „духом“ думали побороть все

[1] См. Звенигородцев. Красная армия и тейлоризм, журнал „Красная армия“ 1922 г. № 14, 15.

успехи техники и с лихвой возместить многочисленнейшие свои ошибки.

„Дух" войск представляется каким-то неизменно пребывающим, никогда не могущим быть исчерпанным, постоянным кладом. Подобное понимание, конечно, заводило только в тупик и в конце концов должно было вести к тяжелым поражениям. Этот „дух" беспощадно эксплоатировался, о нем никто не заботился, он как бы возникал и множился сам по себе,—из ничего.

При более принципиальном отношении к проблеме, обычно, „моральный фактор" трактуется чисто психологически.

Это психологическое рассмотрение морального элемента наибольшее развитие получило во Франции, которой очень и очень пришлось посчитаться с „моральным фактором" как в армии, так и в стране, после разгрома 70-го года.

И нужно признать, что французские военные деятели весьма умело воспользовались теми настроениями, которые господствовали в тогдашней Франции.

Моральный фактор французская военная литература понимает почти всегда психологически, различие лишь в том, что одни концентрируют свое внимание на психологии индивидуальной, другие на психологии коллективной и национальной. Большею же частью это лишь оттенки, которые трудно различить у отдельных авторов, потому что у многих из них они даны в совокупности, слитые нераздельно.

Это психологическое понимание морального фактора кладется в основу даже такой технической и практической дисциплины, как тактика.[1]

Войска всегда готовы разложиться, превратиться в толпу, раз только возникнут существенные сдвиги в их психике; нужно, следовательно, укрепить устои их спайки, поддержать силы, которые могли бы предотвратить кризис.

Так возникает психологический догматизм, весьма в себе уверенный, но едва ли способный убедить многих.

„Для того, чтобы понять кавалерию, нужно прежде всего изучить лошадь, чтобы понять артиллерию—пушку, так как нет кавалерии без лошадей и артиллерии без пушек, лошадь

[1] Модюи. Пехота. 1912 г.

и пушка составляют сущность артиллерии и кавалерии. Чтобы понять пехоту, нужно начать с изучения человека, так как сущность пехоты—человек, а не оружие", пишет Модюи в начале своего труда по тактике пехоты.

Поэтому он кладет в основу своего учения о пехоте физиологию и психологию. Он описывает человека, как мускульный двигатель, разбирает различные движения, определяет их виды, затем переходит к явлениям усталости и явлениям страха. В соответствии с этими психологическими и физиологическими предпосылками, все учение о пехоте и военных действиях распадается у Модюи, во-первых, на борьбу с усталостью, а во-вторых, на борьбу со страхом. Войска свежие и мужественные должны непременно победить.

Как бы ни были во многом остроумны, а порой даже целесообразны, подобные рассуждения, едва ли они в состоянии вполне осветить дело. Не только об утомлении и страхе должен был бы говорить Модюи. Не меньшую роль, например, играют и гигиена и санитария. Потери от огня неприятеля всегда в войсках были значительно меньшими, чем жертвы, уносимые различными болезнями; поэтому хорошая постановка санитарной части в войсках может сберечь живые силы армии даже при весьма кровопролитных боях.

Все эти требования весьма справедливы, все же несомненно, что вовсе не санитария и не гигиена решают исход походов, и вполне здоровая армия может капитулировать, попав в мешок.

Точно так же, едва ли заботы о настроении солдат сами по себе, как бы существенны они ни были, способны определить то, что понимается под моральным фактором. Все это лишь паллиативы.

Французы, например, рекомендуют ударные части перед атакой отводить в тыл, забавлять солдат всевозможными зрелищами, играми (кинематограф и футбол), дать им хорошо выспаться, вымыться, хорошо их питать и пр., а потом послать их—бодрых, свежих, отдохнувших и веселых—в атаку на прорыв вражеских позиций.

Все это очень хорошие мероприятия, но все они касаются лишь частностей, поверхности дела. Подобно страху и утомлению, это не исчерпывает далеко морального фактора, не определяет его в самом существе.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА Института военной истории

Моральный фактор отнюдь не раскрывается нам физиологическим и психологическим рассмотрением, а, главным образом, рассмотрением социальным.

В самом деле, что могут дать психология и физиология для понимания причин поражений и побед, исходов кампаний и войн? Конечно, утомленные до последней черты войска не могут быть использованы для энергичной атаки, они засыпают мертвым сном под визг шрапнелей и грохот разрывов. Нельзя требовать от голодных солдат сил, необходимых для упорного сопротивления, нельзя больных вести на быстрое преследование; все это несомненно так, но не эти силы решают дело на войне.

Психология и физиология скорее определяют лишь известные пределы, в которых может многообразно проявляться человеческая деятельность. Эти пределы с трудом устанавливаются, во всяком случае нормальный уровень зачастую можно перешагнуть в условиях исключительных. Непомерное возбуждение глубоко взрывает скрытые силы организма, делает его порой упругим сверх всякого расчета.

Совершенно непонятно, как можно использовать закон ассоциаций, законы внимания или течения представлений, для самой техники войны, для решения тактических задач, например, для выбора момента решительной атаки. Эти законы всюду постоянны и действуют одинаково, в минуту паники так же, как в часы проявления большой доблести. Это законы психологического механизма, они, так сказать, нейтральны, они вовсе не говорят о направлении нашего опыта, они не дают нам средств установить, что направляет наши мысли и чувства, что заводит этот механизм, что приводит его в движение. Мы в силу необходимости приходим к установленвю причин, которые лежат вне сферы физиологии и психологии.

Не психологическое, а только социологическое рассмотрение приводит к пониманию существа дела. Моральный фактор в понимании социологическом освещается гораздо глубже, чем в понимании чисто психологическом. К тому же он становится доступным для детального и всестороннего анализа, он теряет свою загадочность и иррациональность.

Индивидуальное сознание как по составу своих элементов, так и по силам, определяющим направление психической активности, может быть понято из опыта социологического; опыт индивидуальный из опыта более обширного, коллективного.

Кроме того, социология, пользующаяся историческим методом, легко устанавливает различия, отклонения, изменчивость там, где психология, стремящаяся придать своим положениям абстрактную форму, аналогичную схемам теоретической физики, не в состоянии уловить конкретных условий деятельности сознания.

В действительности, мы всегда прибегаем к социологии, когда стремимся выяснить природу морального фактора. В самом деле, когда, например, военный историк хочет объяснить успехи греков против персов, то, конечно, как наступательная тенденция персов, так и их поражение, всего легче могут быть поняты из рассмотрения социальной структуры и истории персидской монархии. Равным образом, и перипетии борьбы со стороны греков, их колебания настроения, их воля к победе и окончательный успех, могут быть изучены лишь при посредстве социальной истории греческих городов-государств.

Социология позволяет продвинуть и дальше дело: классовая точка зрения способна обнаружить множество противоречий воль там, где мы склонны видеть одну волю, представленную одним войском и одним вождем.

В этом смысле социологическое рассмотрение освещает психологию, объясняет, почему у данного народа нашлись силы победить, почему противников охватило малодушие, приведшее к отказу от войны. Совершенно немыслимо объяснить, например, завоевание Галлии Цезарем, если мы не будем принимать в расчет социальный кризис, который переживала Галлия в середине первого века до Р. Х. Племенной строй находился в явном разложении под влиянием непрерывных феодальных войн и иностранного вмешательства. Верхние галльские общественные слои не могли руководить страной, выпускали кормило правления из своих рук, низшие классы были забиты и политически индифферентны. При этих условиях Цезарь со своей хорошо организованной армией, жадной до наживы, легко мог справиться с отдельными и разрозненными выступлениями. Иногда попытки национального объединения ликвидировались са-

мими же галлами, вызванными Цезарем на разгромление восставших областей (Эбуроны); героизм отдельных групп (Аварик) не имел никаких реальных последствий.

Равным образом, возникновение и исход Пелопонесской войны, например, останутся совершенно непонятными, если мы не будем следить за классовой группировкой воюющих сторон, за направлением их экономической политики. Афиняне, с самого начала, имели в виду поднять восстание илотов, а спартанцы своими опустошающими вторжениями в Аттику хотели заставить быть более миролюбивыми сельские классы афинской демократии, при зрелище разграбления аттической земли.

Можно привести бесчисленные примеры того, что только социологический метод может уяснить нам, что собственно понимается под термином „моральный фактор". Вне этого рассмотрения моральный фактор будет лишь словом, лишь обозначением иррационального и непонятного.

Социологический метод уясняет нам природу этого фактора. Социологическим рассмотрением мы можем подвергнуть его многообразному анализу и вскрыть его элементы.

Вовсе не нужно думать, что социология только в общих, главным образом, стратегических замыслах и планах приносит существенную пользу, когда же мы приступаем к деталям, к частным операциям, социологическая точка зрения отпадает, тогда нужно считаться лишь с психологией, с волей, с чувствами бойцов.

Едва ли подобное мнение можно назвать справедливым. Чтобы, например, разобраться в деталях битвы при Вальми, нужно быть, конечно, знакомым с тактикой того времени, но также, прежде всего, с самой французской революцией и с разложением старого порядка в центральной Европе. Чтобы разобраться в походах Фридриха II, в его приемах, успехах и неудачах, нужно принимать в расчет комплектование его армий, их социальный состав, их материальные рессурсы и пр.; только в этом случае нам уясняется его тактика.

То же самое относится и к русской армии старого порядка. Неудачи, например, манчжурской кампании были обусловлены тем, что колониальная война была уже не по силам правительству, которое здесь впервые понесло

решительное поражение. Манчжурская кампания вплоть до своих последних деталей является не только военным событием, но также и политическим и социальным.

В настоящее время эти тезисы получают вполне определенную жизненную форму. Я имею в виду политработу в армии. Эта политработа вовсе не является лишь сопутствующей военным действиям, протекающей, так сказать, параллельно; она становится нераздельной, составной частью каждой операции.

В особенности подобный характер получила политработа в гражданской войне. Здесь наступления зависели от политической заинтересованности войск, от подготовленности окрестного населения, от сочувствия, которое внушали войска на местах.

Политический момент сыграл не маловажную роль в русско-польской войне, еще мало изученной, но весьма любопытной, как раз именно в этом отношении, благодаря теснейшей связи между военными операциями и политическими тенденциями и лозунгами.

Но не только эти примеры могут нас убедить, но также и общие соображения.

Что такое победа и поражение?

Мне кажется, раньше большинство теоретиков на этот вопрос отвечало вполне в согласии с Клаузевицем, который настойчиво подчеркивал, что победа не есть физический, а моральный факт: важно сломить волю противника к борьбе, принудить его признать наши требования. В соответствии с этим и поражение заключается в отказе от дальнейшей борьбы; побежден тот, кто признал себя побежденным. Все это, может быть, уловлено верно, но все же подобные взгляды неспособны в должной степени осветить предмет.

Почему слабеет воля в одном случае, а в другом получает упругость и торжествует? Что регулирует и определяет духовные силы, столь трудно, по мнению Клаузевица, поддающиеся учету? Не превращается ли военное дело в игру, где ставка следует за ставкой?

Победа есть не только моральное поражение противника, но его дезорганизация, разложение.

Разложением кончилась Мировая война на всех фронтах, а также и война Гражданская, а вовсе не только той или

иной выигранной битвой, как то думали руководители стратегии всех сражающихся армий: генерал Людендорф так же, как и маршал Петен.

Ныне от военного деятеля всех рангов, начиная от главкома до рядового бойца, требуется прежде всего, чтобы он был хорошим организатором.

Главком организует армию и войско в целом, рядовой боец организует себя и свою работу, он вовсе не является только объектом организации, он сам должен действовать организованно, ибо один—он погибнет понапрасну и бесцельно. **Ключ победы лежит в организиции и организованности страны и войска.**

Современная стратегия и современная тактика необходимо должны пересмотреть свои теории и правила. Современная война и современный бой представляют из себя прежде всего борьбу двух организованных коллективов, которые наносят друг другу удары, подрывающие и расшатывающие единство их организации; та сторона, которая скорее дезорганизуется, окажется побежденной. Поэтому в современной тактике выдвигаются принцип внезапности и принцип слагающихся усилий в противоположность былой концентрации в буквальном смысле. Конечно, это не кордонный порядок прежнего времени, а скорее выражение максимальной подвижности и гибкости боевого организма, его всесторонней слаженности. Таков стиль современной войны, который все еще не достаточно усвоен слишком многими военными теоретиками, питающимися традициями Наполеоновской эпохи, совершенно несовместимыми с требованиями современной технической войны.

3.

Вышеизложенные соображения далеко не являются чуждыми военной мысли, скорее обратное; эти тезисы ее повторяются на всевозможные лады: „Война есть продолжение политики".

Это изречение принадлежит Клаузевицу. Для понимания общественных явлений того времени, это совершенно правильный тезис. Государство мыслилось в идеалистической немецкой философии, как высшее средоточие, как форма и фокус общественной жизни; культура народов является

только обнаружением этой „государственности". Называя войну продолжением политики, Клаузевиц хотел этим подчеркнуть теснейшую связь явлений военных с явлениями социальными, как мы бы сказали в настоящее время. Эта теснейшая связь им постоянно подчеркивается.

Война, рассуждает Клаузевиц, сама по себе, есть нечто противоречивое. Все попытки понять ее отвлеченными формулами не могут вести к правильному ее пониманию.

Война есть часть только другого целого, это последнее есть политика.

В самом деле, из рассмотрения природы войны, взятой в абсолютном значении, мы придем к следующему определению ее: война есть проявление насилия с целью вынудить противника исполнить нашу волю. Так как война есть дело серьезное, то казалось бы, что обе стороны вынуждены напрягать свои силы до последней крайности без всяких границ и пределов. Таков неизбежный вывод. Наш ум, говорит Клаузевиц, витая в области отвлеченных понятий, нигде не находит себе покоя, пока не наткнется на самые последние крайности. Но это отвлеченное понимание войны вступает в противоречие с конкретным пониманием войны, с войной, познаваемой нами из действительности. Большинство войн только кажутся взрывами обоюдного негодования, вследствие коего каждый хватается за оружие с целью себя защитить, а противника устрашить нанесением неожиданного удара. В действительности же это скорее лишь напряжение двух разъединенных стихий, разряжающихся малыми единичными ударами. Одно лишь отвлеченное понимание войны никак не в состоянии послужить исходной точкой для определения потребных нам средств к борьбе. Мы попадаем из одной крайности в другую, а между тем крайности эти только создания нашего воображения. Эти противоречия в понятии абсолютной войны уничтожаются тем, что мы постигаем, что война никогда не есть нечто самостоятельное, а лишь часть целого. Война, подчеркивает Клаузевиц, не более как часть политических отношений, а отнюдь не нечто самостоятельное. Политика из всесокрушающей стихии войны делает себе простое орудие.

Слишком многие протестовали против вмешательства политики в войну; напротив, Клаузевиц полагает, что только

через теснейшую их связь достигается выявление сущности войны. Если политика стремится к великому и мощному, то таковой будет и война, она может даже возвыситься до чистого, абсолютного своего вида.

Только при таком понимании война делается опять целой единицей, так что является возможность рассматривать все войны, как нечто однородное. Каждая эпоха должна иметь свою собственную теорию войны, и тем не менее есть нечто общее всем войнам: именно, сама эта связь, само это отношение войны к политике.

Только политика вправе занять верховное положение, из коего должны исходить главные линии, направляющие войну; поэтому военное искусство в высшей своей точке становится политикой. Нет стратегических ошибок, есть ошибки политические. Революция обязана своим двадцатилетним периодом побед, главным образом, ошибкам правительств, боровшихся с ней. Обыденными средствами думали остановить силы новые и неудержимые.

Если мы откажемся от романтического понимания государственности у Клаузевица, если под силами политическими мы будем понимать силы общественные и социальные, а не только силы государственные в узком смысле, то, конечно, теория Клаузевица должна быть признана верной и справедливой.

Хотя эти положения Клаузевица широко применяются военными теоретиками, понимание их не всегда последовательно; очень часто дело представляют так, что война начинается там, где кончается политика. Политик, так сказать, передает свое дело военному, военные продолжают дело политиков другими средствами, уже чисто военными. Это весьма внешнее и узкое понимание существа дела. Конечно, война обычно начинается, когда дипломатические переговоры не приводят ни к каким результатам, когда обмен нотами, меморандумами и пр. прекращается. С вручением последнего ультиматума, дипломатия прекращает свою работу, начинается война. Война становится в центре внимания общественной жизни, все живые и технические силы страны мобилизуются для войны.

Исходя из такого понимания, многие военные протестовали против того, что политики, хотя и прекратили свою

работу, теперь, при военных действиях, пытаются вмешиваться в ход военных событий, мешают военным делать их работу.

И действительно, история знает многие печальные примеры того, как дурная политика приводила своим вредным и нелепым вмешательством к катастрофе. Самым ярким примером может послужить Седанская операция.

Движение Мак-Магона на выручку Базена, запертого в Мецe, движение, уводившее армию прочь от Парижа, навстречу гибели, может быть объяснено не столько стратегическими и оперативными ошибками, сколько ошибками политическими, которые давали этот посыл армии, которые толкали ее к гибели, к капитуляции. Мак-Магон более оглядывается на Париж и его требования, чем заботится о пределах возможного и невозможного для своей армии. Мак-Магона и его армию можно рассматривать, как жертву французских политиков.

Можно было бы весьма и весьма умножить подобные же примеры дурного вмешательства политики в войну, но и без того уже достаточно распространено мнение, будто политика вовсе не должна вмешиваться в войну, что военное дело, так сказать, довлеет себе, что военные цели достигаются чисто военными средствами.

Это последнее утверждение как раз и подлежит острому оспариванию. Гораздо более прав Клаузевиц, утверждая, что только дурная политика приводит к катастрофе; нет изолированных военных задач.

История знает не менее гибельные вмешательства военных деятелей в политику во время войны, чем политиков в войну. Так, например, борьба немецкого генерального штаба против Бисмарка, если бы она имела успех и не была бы сломлена железной волей канцлера, могла бы иметь весьма гибельные следствия для дела германского национального объединения. Немецкий штаб хотел в 1866 году занять войсками Вену, хотел унижения Австрии и Саксонии, территориальных прирезок и пр. Это сделало бы Австрию непримиримым врагом Пруссии, которая в 1870 году не могла бы так легко, не заботясь о своем тыле, воевать с Францией.

Но особенно гибельными были постоянные трения между немецкой главной квартирой и немецким правительством

в Мировую войну. Немецкий генералитет производил слишком резкий нажим на немецких политических деятелей, которые, не обладая энергией Бисмарка, уступали, хотя зачастую и видели, к каким нелепым последствиям ведут требования военной партии. Поэтому происходила постоянная борьба между главным штабом и центральным правительством, глухое взаимное неудовольствие все время тлело, что в достаточной мере парализовало как политику, которая все время оставалась двойственной, так и военные действия, которые были нерешительными (в особенности во время командования Фалькенгайна).

В этом смысле крайне поучительно прочесть писания Людендорфа, который был во многом наиболее сильным ферментом разложения немецкой воли к победе.

Борьба стратегии с политикой всякий раз обнаруживает изъяны и несовершенства как стратегии, так и политики. Напротив, хорошая политика и хорошая стратегия всегда уживаются вместе. Совершенно неправильно думать, что политика совершенно прекращается с наступлением войны, скорее имеет силу обратное: политические и военные средства идут рука об руку, выступают вместе, ибо военные действия суть в то же время и политические.

Достаточно хотя бы бегло рассмотреть наиболее удачные войны и операции, чтобы убедиться в этом. Наполеон не потому, конечно, имел такой головокружительный успех, что был хорошим тактиком, но также и потому, что был в то же время весьма проницательным политиком, что он умел во-время выставить требования и во-время уступить. Его военные неудачи начинаются там, где начинаются его неудачи политические, когда он не понимает возникшего против него движения народов, в то время как он думает, что все еще воюет против изолированных и бессильных правительств.

Равным образом, военные действия и походы Александра Македонского не могут быть исключительно объясняемы его тактическими талантами, но также весьма остроумным и глубоко входящим в самую суть дела действием политическим. Александр Македонский прежде всего рассчитывал, что его армия будет постоянно пополняться всеми недовольными персидским господством.

Разложение персидской монархии обусловливало его победы. Самый путь его похода диктовался условиями политическими.

Это теснейшее взаимодействие военных средств со средствами политическими с особой ясностью выступило в Мировую войну. В ней политика играла не менее важную роль, чем соображения чисто оперативные. Часто борющиеся стороны не покидали известного рубежа только потому, чтобы не произвести неблагоприятного впечатления на родине. То, что делалось дома, становилось более грозным, чем то, что делалось у врага. Тыл превратился таким образом в столь же грозный фронт, как непосредственная линия огня.

Все это в достаточной мере ныне раскрыто и описано, и тем не менее в известной части военной литературы все еще удерживается мнение, что немецкая армия погибла от „измены“ (так часто пишут немцы), что „гению“ французских маршалов нужно приписать победу французов (так часто пишут французы).

Но, конечно, с наибольшей полнотой и ясностью выступает связь явлений порядка военно-технического с явлениями политическими и социальными в опыте Гражданской войны. Совершенно невозможно удачи и поражения армий в Гражданскую войну объяснять только охватами, прорывами, маневрами, так называемыми принципами стратегии и тактики и пр. Здесь дело, очевидно, обстоит гораздо сложнее. Сочувствие населения, спайка частей, восстание в тылу гораздо более объясняют перипетии и исход борьбы. К сожалению, в наличной литературе о Гражданской войне не всегда наблюдаются эти очевидные требования. Некоторые авторы подчеркивают, главным образом, социальную сторону Гражданской войны, лишь касаясь попутно явлений чисто военных. Другие дают порой весьма тщательный военный анализ событий, но оставляют совершенно в стороне явления порядка социального. Слишком мало в нашей литературе по Гражданской войне выявлены эта нерасторжимая связь и обоюдная зависимость между явлениями социальными и военно-политическими.

Нужно признать, что заграницей, правда, на несколько ином материале, подобная работа ведется весьма успешно.

Многочисленные авторы, представители ныне столь распространенного на Западе империализма, дают образцы совершенно новой трактовки военных действий. Конечно, они далеко не разделяют идей классовой точки зрения, исходя из совершенно иных идеологических начал, но все же теснейшим образом связывают явления военные и явления политические; они весьма умело показывают, как малейшее колебание политического барометра отражалось на действиях армий и обратно, как действия армий давали той или иной партии внезапное преимущество и обеспечивали победу. В особенности подобная работа проделана ныне над классическим империализмом, римским. Например, работы Ферреро в этом смысле крайне показательны и любопытны. Совершенно в ином свете предстают пред нами войны с Митридатом, предприятия Цезаря в Галлии и пр.

Существующая традиция изменена в корне вместе с изменением основной точки зрения. Ферреро рассматривает предприятия Цезаря в Галлии, как типичную колониальную войну, ведомую в интересах определенной партии, власть и влияния которой постоянно колебались. С этой точки зрения походы Цезаря лишаются того порядка и планомерности, которые придал им сам автор Записок о Галльской войне, но зато они получают непосредственную живую убедительность, чуждую рационалистических схем.

Оказывается, например, что Цезарь начал свою деятельность в Галлии с весьма крупной стратегической ошибки. Он обрушился на несчастных гельветов, которых собственно должен был бы почитать за своих союзников, ибо они шли против общего врага Ариовиста. Гельветическая кампания, однако, находит себе объяснение в том, что Цезарь в первый же год своей деятельности нуждался в какой-либо громкой победе, о которой заговорили бы в Риме, которая подняла бы престиж его партии на форуме. Точно так же далекие предприятия в Германии и Британии, бесполезные и никчемные с военной точки зрения, легко находят себе объяснения с точки зрения политической. Цезарь становится каким-то сказочным героем, который уже перешагнул пределы земли, который продвинул римские орлы в сказочные, мифические страны. В Риме он становится человеком легенды, получает ореол победителя по преимуществу, единственного императора, как называл его иронически Катулл. Этими походами и этой легендой Цезарь подготовляет себе диктатуру.

Еще более интересный пример подобных же отношений мы видим в войнах Рима с Митридатом. Как известно, эти войны происходили в самый разгар гражданских смут в самом Риме. Сулла вернулся в столицу, не окончив войну: он купил свою победу над Римом ценой уступок Митридату. Лукулл, представитель аристократической партии, стремился завершить то, что оставил на полдороге Сулла. Но быстрые успехи на востоке встревожили демократов, успевших усилиться за это время. Ведется яростная агитация против Лукулла, в его собственной армии поднято восстание, и остановлен победоносный поход. Судьбы операции Лукулла обусловлены не только военной ситуацией на востоке, но, главным образом и прежде всего, политической ситуацией на римском форуме.

Если сравнить описание и понимание военных явлений в труде Ферреро, например, с историей русско-японской войны, как она написана у нас, то сравнение тотчас же покажет глубокий принципиальный сдвиг. Русско-японская война в русской литературе, главным образом, описана чисто технически, и поэтому в ней остается слишком много необъясненного. Петербург и революция в ней не являются действующим фактором. Ход операций в русско-японскую войну остается загадочным. Выдвинута военно-техническая сторона дела, и искусственно замолчана сторона социальная, но при такой изоляции и при такой абстракции, искусственной и логически не правомерной, мы рискуем ровно ничего не понять.

4.

Рассмотрение войны как социального явления приводит нас к одному весьма важному методологическому выводу.

В военной теоретической литературе приходится констатировать две диаметрально различные тенденции. С одной стороны, мы имеем абстрактный математизм, все еще не оставленный некоторыми теоретиками, несмотря ни на какие предметные уроки, а с другой стороны, мы видим стремление к худо истолкованному историзму, приводящему к отрицанию

значения каких-либо общих начал и к борьбе против принципов.

Социологическое рассмотрение военного дела заставляет видеть одну общую ошибку, лежащую в основе этих двух, казалось бы, диаметрально противоположных направлений, именно неправильное понимание границ и применения абстракции. Представители технической военной мысли любят придавать своим обобщениям форму, принятую в естествознании и математике, они впадают в своего рода механический материализм, аналогичный материализму XVIII века.

Их противники, выдвигая человеческий фактор и подчеркивая роль человека в военном деле, слишком легко становятся отвлеченными идеалистами, они забывают, что „человек" нигде не дан нам в виде чистой идеи, как человек вообще, а всегда в определенных, жизненных условиях, при чем технические условия играют решающую роль. И те и другие совершенно не в состоянии осветить, как следует, вопрос о связи человека и техники, вопрос о том, как человек воспитывается средой и как он воспитывает этого своего воспитателя, говоря языком Маркса. Нет техники без „человека", единичного или коллективного, техника есть предмет не природы, а культуры, но нет также в настоящее время и людей, которые действовали бы голыми руками, которые не были бы вооружены теми или иными техническими средствами. Задача состоит в том, чтобы уметь рассматривать эту неразрушимую связь и понять это теснейшее взаимодействие.

Одна техника без человека на войне немного значит, и отлично вооруженное войско может потерпеть поражение, если составляющие его люди не хотят вообще драться, но также и человек, ничем не снабженный, едва ли в состоянии благодаря одному своему энтузиазму штурмовать современную укрепленную позицию. На войне более чем где-либо имеет значение совместная работа человека и техники. Но человек, конечно, не может быть понят только отвлеченно, мы знаем его в определенном обществе, в составе определенного народа, определенного класса.

Мне кажется, уже здесь, на этих примерах, можно, утвердить, как общий методологический принцип, следующее правило: нельзя в военном деле следовать исключительно методу

отвлеченного анализа, который бессилен утвердить связь и зависимость отдельных факторов и условий; мы должны здесь итти методом диалектическим, который настаивает на взаимной зависимости отдельных моментов, как входящих в состав единого процесса.

Война является настоящим хамелеоном,—говорил Клаузевиц. К этому выводу он пришел при рассмотрении природы войны в связи с политикой. Этим Клаузевиц решительно подчеркнул диалектический характер военных явлений. Действительно, эта диалектика непосредственно обнаруживается, когда мы разбираем войну, как явление социальное.

5.

В качестве примера разбора войны как социального явления можно привести статьи Энгельса о франко-прусской войне 70—71 г., примечательные во многих отношениях. Напечатанные в газете, как „Заметки о войне", они общим тоном своим и построением вскрывают весьма много достоинств, им присущих.

Современный читатель при первом чтении чувствует себя даже разочарованным: никаких методологических уроков из этих статей извлечь нельзя, в них нет как-будто и специфических черт марксизма.

Однако, это первое впечатление обманчиво. При более внимательном рассмотрении они могут дать весьма много ценного материала для понимания методов самого Энгельса. Недаром, Маркс писал Энгельсу: „твои статьи замечательны".

Прежде всего следует обратить внимание на рассмотрение Энгельсом военных событий с точки зрения их обусловленности причинами политическими и социальными. Само по себе это положение в настоящее время стало азбучной истиной: примечательно у Энгельса его применение к конкретным случаям. Как раз последний пункт остается все еще недостаточно выясненным. У слишком многих писателей политика и социология остаются политикой и социологией, а война—войной. Если устанавливается какая-нибудь связь, то делается это чисто внешним образом, высказываются некоторые общие соображения, при чем частные пункты остаются неизменными через установление новых связей и новых отношений, словом, отсутствует диалектический

анализ событий, который должен был бы охватить одинаково как общее, так и частное.

У Энгельса мы видим, что последняя частность, будучи поставлена в связь с общими условиями социальной жизни тогдашней Франции, получает смысл и значение через отнесение к своей причине. Установленная связь характеризует как социальные отношения, так и военные события. Элементы целого не существуют самостоятельно, они стали моментами единого, по существу, процесса.

Уже первая заметка о войне дает богатый материал для уяснения этого методологического принципа. Едва противники обменялись несколькими выстрелами, как уже можно было сказать, что первый период войны закончился, оказавшись неудачным для французского императора. Это станет ясным, если сделать несколько наблюдений над политическим и военным положением,—пишет Энгельс.

Эта четкость предвидения обусловлена анализом теснейшей связи между политическим и военным положением.

Французская система подготовки армии к войне и самый план будущей войны потерпели фиаско (крушение), действительность не оправдала ожиданий французов.

Первоначальный план французов, казалось, был основан на весьма реальных данных. „Всем известно, что Луи-Наполеон думал, что он будет в состоянии отрезать северогерманский союз от южных государств и извлечь для себя выгоды из брожения, царившего в недавно присоединенных прусских провинциях". Политическая ситуация диктовала, следовательно, вполне определенные действия. Поэтому Энгельс продолжает: „Эту задачу можно было бы выполнить быстрым натиском на Рейн, возможно большими силами, переправой через эту реку, где-либо между Гергерсгеймом и Майнцем, и наступлением в направлении на Франкфурт и Вюртцбург. Тогда французы овладели бы сообщениями между севером и югом и принудили бы Пруссию стянуть к Майнцу, экстренным порядком, все мало-мальски наличные войска, независимо от степени их боевой готовности. Этим весь процесс мобилизации Пруссии был бы расстроен, и все шансы на успех были бы на стороне французов, которые могли бы разбить пруссаков по частям по мере их подхода из разных пунктов страны".

В свете этих политических соображений с особой четкостью выступает военная организация тогдашней Франции, которая допускала гораздо более быстрое сосредоточение армии в 120 — 130 тысяч, чем прусская система ландвера. Мобилизация в Германии требует много времени и представляет сложный процесс, планомерность которого была бы совершенно нарушена внезапным вторжением противника.

Наконец, в согласии с этими политическими и военно-организаторскими предпосылками Франция в спешном порядке объявила войну в расчете на неподготовленность Пруссии и неожиданность.

Эта последовательность условий, планов и решений, однако, не может быть проведена, не наталкиваясь на неожиданное препятствие; весь первоначальный расчет оказывается мнимым, ибо не было предусмотрено вступление в борьбу новых сил, вызванных агрессивностью французов. Внезапный сильный подъем патриотического чувства немцев расстроил планы французов. Луи-Наполеон увидел перед собой не короля Вильгельма-Завоевателя, а всю германскую нацию; при таком положении вещей нечего было и думать о натиске через Рейн, даже имея 120 — 150-тысячную армию. Пришлось оставить идею неожиданности, начать, собрав все свои силы, правильную кампанию. Гвардия Парижская и Лионская, армии и войска Шалонского лагеря, которых было бы вполне достаточно для первоначальной цели, теперь могли лишь образовать ядро огромной армии, требующейся для вторжения. Так начался второй период войны, период подготовки великой кампании, и с этого же дня шансы на безусловный успех французов стали уменьшаться.

Кризис, наметившийся в заметке 1-й Энгельса, углубляется. „24 июля император, — пишет Энгельс в 4-й заметке, — прибыл в Мец и с утра следующего дня принял командование первой армией. Согласно Наполеоновским традициям, этот день должен бы был быть ознаменован началом активных действий". Однако, никаких активных действий со стороны французов не последовало. Наступления не последовало потому, что хотя французская армия и была готова, но ее индендантство к нему подготовлено не было.

„С начала войны армия Второй империи терпит поражения пока только от самой же империи".

„При существующем во Франции режиме, который должен щедро платить тем классам, на которые он опирается, путем потворства повсеместно установившейся системе казнокрадства и взяточничества, нельзя было бы ожидать,—что подобная система не процветает и среди интендантства армии. Настоящая война, по признанию г. Руэра, подготовлялась уже давно, заготовке же продовольствия и в особенности предметов снаряжения придавалось, повидимому, мало значения, а между тем неудовлетворительное состояние именно этой области снабжения и задержало на неделю наступление французов в наиболее критический период кампании."

Гибель французской армии предначертала разложение режима Второй империи. Энгельсу остается только следить за этапами этого разложения вплоть до окончательной катастрофы, которую он уже предвидит на основе закона диалектики, углубляющего воздействия противоречия.

Это противоречие таково, что не позволяет французской армии ни наступать, ни обороняться; она может только капитулировать. В весьма кратких и содержательных формулах здесь дано Энгельсом единственно верное объяснение первого периода франко-прусской войны, закончившейся Седаном. О войне 70-го года написано очень много книг; все они все же не дают как следует объяснения капитуляции французской армии. Эта капитуляция не зависела от действия пруссаков, они лишь воспользовались стечением весьма благоприятных обстоятельств; тщетно искать причин этой капитуляции в пассивной тактике французов, которые в конце концов вовсе не пользовались обороной, оборонялись весьма худо, хотя имели к тому все средства. Никакие рассуждения не могут затушевать тот основной факт, что в кампанию 70-го года один из противников играл в поддавки, а другой—в крепкую.

Ведь совершенно очевидно, что маршал Базен, если бы он не медлил в Меце, мог бы уйти из крепости, и пруссаки не смогли бы его остановить при Марс-ля-Туре и Сен-Прива по такой простой причине, что он был бы раньше их там; точно так же и армия Мак-Магона шла к Седану, не принужденная к тому германскими войсками.

И Мак-Магон и Базен сами приготовили себе ловушку, хотя и не думали в нее никого заманить. Французская армия

была обречена на капитуляцию в силу внутреннего противоречия, обрекающего ее на паралич.

Этот парадокс очень метко подмечен Энгельсом в первых же его заметках о войне и находит у него весьма рациональное объяснение.

Мы уже видели, почему французы не могут наступать вопреки своему первоначальному плану и требованиям развертывания. Энгельс показывает, почему они не могут также обороняться, выйти из-под удара.

„В конце текущей недели император находился лицом к лицу с противником, превосходящим его своей численностью, и если, на прошлой неделе, он стремился двинуться вперед, но не смог, то теперь наступать он, вероятно, не только не может, но и не желает... Это дает возможность предположить, что бездействие французов вплоть до четверга произошло отчасти вследствие изменений в плане кампании; что вместо наступления французы намерены остановиться на обороне и использовать преимущества, которые нарезная и заряжаемая с казны артиллерия может дать армии, занимающей в ожидании атаки укрепленные позиции. Но решиться на такой план действий, значило бы совершенно разочаровать началом кампании общественное мнение Франции и принести в жертву половину Эльзаса и Лотарингии, без хотя бы одного серьезного сражения".

Французская армия идет к катастрофе. Эту катастрофу Энгельс предсказывает задолго до Меца и Седана на основе диалектического анализа:

.... „Французская армия лишилась теперь всякой инициативы. Ее действия диктуются не столько военными соображениями, сколько политической необходимостью. Если армия в триста тысяч человек, находясь в непосредственной близости противника, должна в своих действиях руководиться не тем, что происходит у неприятеля, а тем, что случается или может случиться в Париже, то такая армия уже наполовину разбита. Конечно, никто не мог бы с достоверностью предсказать результат генерального сражения, которое неминуемо близко, если оно только уже не началось, но все-таки можно с уверенностью сказать, что если пройдет хотя бы еще одна неделя, втечение которой Наполеон III будет продолжать такую стратегию, которую он проводит с про-

шлого четверга, то этого одного было бы достаточно, чтобы привести к уничтожению даже самую лучшую и сильнейшую армию".

Нужно признаться, что это действительно правильное и исчерпывающее объяснение гибели армии Наполеона III. В этом смысле заметки о войне 70-го года Энгельса выгодно отличаются от весьма обширных, основанных на детальном изучении первоисточников, капитальных трудов о войне 70-го года. Такие труды написаны как немцами, так и французами. И те и другие, однако, не вскрывают парадокса военных событий первой половины войны 70-го года. Именно в них слишком мало объясняется, почему один из противников как бы нарочно играет в поддавки, в то время как другой играет в крепкую. Немцы, изучая войну 70-го года, по ней проверяли свою доктрину, они детально следили за всеми своими упущениями, выявляли те тяжкие уроки, которые можно извлечь из нее. Не иначе поступали и французы, они стремились в полной мере учесть свои ошибки, чтобы их больше не повторять. Война 70-го года изучалась технически и тактически, но ее результаты и ее перипетии могут быть объяснены только стратегически. Седан был подготовлен всеми условиями, предшествующими ему. Поэтому Седанская катастрофа теряет у Энгельса свой парадоксальный характер. Она выясняется естественным обнаружением диалектики военных событий того времени, потому-то Энгельс ее предвидит и предсказывает.

Второй примечательной чертой заметок о войне Энгельса является характеристика и анализ событий второго периода франко-прусской войны после ликвидации всей регулярной армии французов.

Обычно рассматривают этот второй период, как несколько затянувшийся конец. Однако, это был слишком затянувшийся конец. Следует помнить, что с армией Наполеона немцы справились в полтора месяца, с армиями республиканскими они должны были воевать пять месяцев. Наступление немцев становится все затруднительней, сопротивление возрастает, немецкие силы исчерпываются. Наиболее полно освещен этот поворот в ходе военных событий в статье „Превратности войны". Эти превратности поняты не как следствие тех или иных случайных причин, а как нечто вполне закономерное и необходимое при данной ситуации.

Энгельс ставит очень прямолинейно вопрос. С известной точки зрения может казаться, что силы французов исчерпаны, что сопротивление немцам они оказывать не могут. Однако и с другой стороны мы должны перейти к диаметрально противоположному заключению: никогда еще силы враждующих сторон не были так близки к равновесию, как теперь (в декабре 70-го года). Война изменила радикально свой облик, и этим изменением обусловлены превратности войны.

„Последнее поражение,—пишет Энгельс,— французской Луарской армии и отступление Дюкро за Марну решают, наконец, судьбу первой согласованной операции, предпринятой для освобождения Парижа. Она потерпела поражение, и публика снова начинает задавать вопрос, не доказывает ли этот новый ряд несчастий неспособность французов оказать дальнейшее успешное сопротивление,—не лучше ли было бы отказаться от продолжения войны, сдать Париж, и согласиться на аннексию Эльзаса и Лотарингии".

Это заключение кажется вполне справедливым, но на самом деле оно глубоко ошибочно.

„Дело в том, что публика совсем забыла о том, что значит настоящая война. Крымская, итальянская, австро-прусская не были народными войнами, они были войнами правительств, которые заключали мир, как только их военный механизм или подвергался разрушению, или изнашивался. Настоящей войны, в которой принимает участие сама нация, мы не видели в центре Европы уже втечение двух поколений".

О настоящей войне стали забывать, ее образ улетучился из памяти, все были уверены, „что истинная нация не станет продолжать борьбу после того, как официальная нация принуждена сдаться".

Однако, французы совершили этот „невоспитанный поступок; французы фактически дерутся еще три месяца после того, как официальная армия Франции была принуждена уйти с поля сражения; мало того, они сделали то, чего их официальная армия ни разу не могла сделать во время этой кампании. Они одержали один крупный успех и ряд мелких, они у своего врага взяли с боем орудия, обоз и пленных".

„Благодаря тому, что коренным образом изменились условия, что война вступила в новую фазу, все расчеты должны

быть пересмотрены. Силы французов возрастают. Их армии, как Парижская, так и Луарская, сражаются хорошо. Пусть состав этих армий весьма пестрый и далеко не однородный, во всяком случае эти армии имеют ядро хороших боевых батальонов, вокруг которых могут быть сгруппированы остальные. Притом эти армии постоянно получают боевой запас, который должен сделать из них великолепных солдат. Эти армии далеко не представляют собой всей действующей силы Франции. Франция располагает еще по крайней мере от 200.000 до 300.000 человек, из которых сейчас формируются отряды в более отдаленных пунктах тыла. Каждый день их боеспособность все увеличивается. Каждый день должен давать фронту, хотя бы втечение некоторого времени, постоянно все увеличивающуюся армию свежих бойцов".

Но кроме этой регулярной армии, нужно принять во внимание все растущее сопротивление всего населения.

„Когда „Фриц" шел от Меца до Рейна, от Рейна до Седана и оттуда до Парижа, не было сказано ни одного слова о восстании народа. Поражения императорских армий принимались с какой-то апатией; двадцатилетний императорский режим приучил народные массы к тупой и пассивной зависимости от официальных властей. Кое-где крестьяне принимали участие в действительных боях, как, например, в Батейле, но это были исключения. Но как только пруссаки обложили Париж и подвергли окружающие местности жестокой, систематической, реквизиции, проводимой без всяких снисхождений, как только они начали расстреливать вольных стрелков и сжигать деревни, оказавшие помощь последним, как только они отвергли мир, предложенный Францией, и объявили свое намерение продолжать войну,— все круто изменилось: партизанская война разразилась на всех флангах немецких войск, возбужденная их собственной жестокостью; теперь им достаточно вступить в новый департамент, как там повсюду начинается зарождение ландштурма. Всякий, кто прочтет в немецких газетах донесения о наступлении армии герцога Мекленбургского и Фридриха-Карла, сразу увидит, какое огромное влияние на движение обеих армий имеет это неуловимое, то появляющееся, то исчезающее, но всегда чрезвычайно сильное, народное восстание. Даже действия их многочисленной кавалерии, которой французам почти нечего противопоставить, в значительной степени обезврежены этой всеобщей активной и пассивной враждебностью жителей".

Если таково изменение в силах французов, то не менее значительно и изменение в силах прусской армии, с той лишь разницей, что это изменение совершается в диаметрально-противоположном направлении: в то время, как силы французов возрастают, силы немцев убывают. Немцы не имеют значительных свободных для тактических операций сил, их дивизии заняты осадой Парижа и других французских крепостей, охраной длинной узкой коммуникационной линии железной дороги от Нанси до Парижа.

„Для полевых операций в большей части центральной и южной Франции остаются 11 пехотных дивизий Фридриха-Карла и герцога Мекленбургского, численностью никак не более 150.000 человек, включая и кавалерию. Немцы достигли кульминационной точки своих побед, их ослабевшие силы будут равняться силам французских войск, стоящих перед ними, и здесь все условия будут благоприятствовать французам".

Отсюда Энгельс делает решительный вывод: „Мы берем на себя смелость утверждать, что если дух народного сопротивления не угаснет, то положение французов даже после их недавних поражений можно считать очень сильным. Имея доступ к морю, каковым путем можно ввозить оружие, имея достаточное число людей, из которых можно сделать солдат, пользуясь результатом организационной работы трех месяцев,— первых и самых тяжелых трех месяцев,— и рассчитывая еще на месяц или два передышки, которая будет им дана, а это как раз совпадает с признаками истощения у пруссаков,—то со всеми этими данными отказ от борьбы в настоящее время был бы равносилен измене. Наконец, кто знает, что может случиться и какие осложнения в Европе могут произойти в этот промежуток времени. Во всяком случае им необходимо продолжать свою борьбу".

Таким образом, „превратности войны" явление далеко не случайного характера, эти превратности совершенно необходимы, в этих превратностях обнаруживается диалектическая природа войны. Война изменяет свой облик; то, что ранее было спасительным, становится теперь источником

опасностей, то, что раньше подтачивало силы противника, то теперь их умножает, то, что раньше служило на пользу, теперь служит ко вреду. Война, изменяясь, требует новых средств и новых решений. Эта диалектика военных событий имеет своей последней причиной связь войны и политики. Тактические затруднения немцев отнюдь не могут быть объяснены одними лишь тактическими и оперативными соображениями, немецкая армия не ухудшилась за немногие месяцы войны, ее потери не подорвали и не истощили ее сил, напротив, можно сказать, что немцы, имея победоносный опыт прошлого, были уверены в себе, более решительны в своих действиях; французы лишились почти совершенно своей кадровой армии и своего комсостава, их армия состоит почти исключительно из новобранцев, которые на полях сражения учились военному искусству, французы должны заново строить свою военную организацию; казалось бы, если рассуждать с чисто военной точки зрения, положение их безнадежно.

На самом деле это не так. „Отказ от войны в настоящее время был бы равносилен измене“, — пишет Энгельс. Война не может быть понята сама через себя, она есть всегда только часть целого — этот основной тезис Клаузевица здесь находит свое приложение. Тактические и оперативные затруднения немцев не понятны сами по себе, они становятся понятными, если их брать в связи с целым, в связи с общим положением, в связи с общей политикой и социальной жизнью враждующих народов. Силы немцев иссякают не на непосредственных полях битв, не здесь обнаруживается их слабое место. „Последние резервы от Пруссии — все необученные, почти все женатые, и достигшие такого возраста, когда у людей мало желания и способностей начинать солдатскую службу. Призвать на военную службу последних, т.-е. тех, которые на основании долгого опыта привыкли считать, что их отношение к армии чисто номинальное, было бы очень непопулярной мерой. Еще более непопулярной мерой оказался бы призыв тех физически здоровых людей, которые по какой-либо причине совсем избегли воинской повинности. В чисто оборонительной войне все они без колебания отправились бы в поход, но в завоевательной войне, и особенно в такой период времени, когда

успех этой завоевательной политики становится сомнительным, у них трудно ждать энтузиазма; завоевательная война хотя бы с несколько изменчивым счастьем не может быть проведена в случае ее продолжительности армией, состоящей главным образом из женатых людей; одно или два крупных поражения должны деморализировать такие войска, если они были посланы с целью завоевания“.

Чем более прусская армия, благодаря затяжному характеру войны, становится на самом деле „вооруженной нацией“, тем менее она годится для завоевания. Пусть немецкие филистеры так громко кричат про Эльзас-Лотарингию, все же остается мысль, что Германия не может ради своих завоевательных целей переносить те же лишения, ту же сознательную дезорганизацию, то же ограниченное производство, как и Франция, которая охотно переносит все это ради самообороны. Тот же самый немецкий филистер, надев форму и отправившись в поход, может стать более умеренным на одном из французских полей битв или на бивуаке в сильный мороз.

Одна и та же причина, превращая армию в вооруженную нацию, укрепляет силы французов и разлагает силы немцев; превратности войны являются следствием развития самой войны, существенными изменениями в ее характере, целях и смысле для обоих народов.

Здесь в этом последнем пункте мы приходим к основному методологическому принципу, который проникает весь анализ франко-прусской войны, даваемый Энгельсом. Военные события Энгельс рассматривает в их развитии, они для него являются изменчивыми формами сложного процесса. Эта изменчивость обусловлена диалектическим законом, так что успех, например, может перейти в диаметральную свою противоположность, в неуспех, затруднение освобождает новые силы, а победа в известном случае может их сковать. Эти парадоксальные на первый взгляд выводы на самом деле являются вполне закономерными следствиями развития, которые Энгельсом мыслятся не как увеличение или уменьшение первоначально данного, а так, что количество переходит в качество, и следовательно, получается переход в полную противоположность.

Это рассмотрение событий в их динамике крайне характерный методологический прием Энгельса. Мы уже видели,

что при разборе первого периода войны Энгельс констатирует противоречие между наступательными тенденциями французского правительства и политикой его. Это противоречие выразилось в тех первоначально незначительных, на первый взгляд, трениях, которые неизбежны во всякой войне—у французской армии не хватило сухарей, котелков, материала и оружия, интендантство, благодаря растлевающему режиму Наполеона III, слабо было подготовлено к войне, что задержало наступление французских армий; эти незначительные на первый взгляд трения, однако, оказались роковыми симптомами паралича французской армии. В дальнейшем противоречия между требованиями стратегии и тактики и политики не только не уменьшаются, но возрастают, и, наконец, Седанская катастрофа является кульминационным пунктом обнаруживания этих противоречий. Благодаря тому, что Энгельс в первых же своих заметках вскрыл эти противоречия, ему было легко следить за развитием событий и предсказать Седанскую капитуляцию.

Этим должна была кончить Вторая империя. Вторая империя, наконец, возымела влияние на главную опору этой империи—армию.

Равным образом, как мы только что видели, и второй период франко-прусской войны Энгельс рассматривает под углом развития военных событий. Он констатирует резкий перелом в обстановке; этот перелом и кризис являются вполне закономерными, немцы начинают терпеть неудачи, когда регулярная французская армия исчезла; это резкое изменение сигнализировано Энгельсом в статье „Как сражаться с пруссаками“, датированной 17 сентября, т.-е. почти тотчас, как замолкли пушки Седана: „оборона станет сильнее и наступление труднее“. В статье от 26 ноября Энгельс говорит уже более ясно: „одно стало иным—это то, что враждующие силы теперь находятся в большем равновесии, чем когда-либо после Седана, и что сравнительно незначительное подкрепление, состоящее из обученных войск и присоединившееся к французской армии, могло бы установить полное равновесие“. Все внимание Энгельса с этого времени направлено на то, чтобы проследить это новое противоречие, которое обнаружилось в соотношении сил враждующих армий. Немцы продвигаются

вперед, но их продвижение ведет не к ослаблению, а к усилению врага; французы находятся на краю гибели, но эта крайность заставляет их прибегнуть к самым решительным мерам, мобилизовать все силы, действовать с удвоенной и утроенной энергией, и поэтому они ближе к отражению врага, чем когда-либо. Энгельс с самого начала указывает на то, как могут быть побеждены пруссаки, и следит за тем, что было сделано французами в этом направлении. Поэтому он очень резко нападает на Трошю и винит его в бездеятельности и нерешительности: анализ развития событий в скором времени подсказывает Энгельсу и другое противоречие, которое задерживает возрастание сопротивления французов. Само по себе для Энгельса очевидно, что пока на юге Франции останется свободной некоторая часть территории и пока пассивное, а иногда и активное, сопротивление не будет прекращено на севере Франции, Франция не может быть принуждена считать себя побежденной, если только она не слишком утомлена войной. Однако некоторые симптомы показывают, что французской армии недостает энергии. „Состоятельные классы, средний класс горожан, крупные землевладельцы и часть мелковладельческого крестьянства до сего времени составляли партию мира; можно рассчитывать... что они выберут в Национальное Собрание депутатов сторонников мира“. Энергия Франции сломлена не только тактическими успехами немецких войск,—эти успехи сами по себе были бы недостаточны, но и классовой борьбой, развитие которой намечается во Франции.

Таким образом снова намечается противоречие между политикой и войной, которое казалось устраненным после Седана. Анализируя капитуляцию Бурбаки, Энгельс говорит: „Старая история августовской кампании повторилась снова, и замечательно то, что эта странная нерешительность была проявлена генералом империи, тогда как ни один из генералов республики, каковы бы ни были их другие недостатки, не выказал такой нерешительности и не понес за нее такие кары“.

ИСТОРИЗМ.

1.

Изучение Мировой и Гражданской войн является в настоящее время существенным моментом подготовки как армии, так и страны к войне, ибо только изучение прошлого может ориентировать в настоящем и дать основу для расчетов будущего.

В Красной армии в различных кружках ВНО командный состав весьма деятельно работает поэтому над историческими темами. Современная военно-научная литература также носит, главным образом, исторический характер. Даже работы систематического характера, например, тактические руководства по различным родам войск, имеющие иногда весьма технический характер (тактика авиации, тактика бронесил и пр.), делают свои выводы, основываясь на военно-историческом материале.

Словом, можно сказать, что историческая точка зрения преобладает в современной военной литературе.

Это можно было бы приветствовать, если бы самый исторический метод понимался различными авторами однозначимо и не подвергался извращенным толкованиям, основанным на непонимании самого дела.

Отсюда становится вполне понятным, что очень многих не удовлетворяет историзм в военном деле; возникает недовольство, явно или скрытно выраженное, существующими методами пользования военно-историческим материалом. При этом нужно сказать, что эти возражения исходят не из лагеря рационалистов и догматиков, думающих строить военные предвидения на вечных принципах войны, а именно из лагеря тех, которые достаточно деятельно изучают исто-

рию военного дела в целях приучить свою мысль к конкретной постановке вопросов.

Прежде всего не удовлетворяет пассивное отношение к прошлому и ссылка на него, в то время, как мысль стремится определить требования будущего. Работа военного деятеля в мирное время протекает, главным образом, в подготовке к будущему, но его принуждают повернуться к прошлому и в нем обрести полезные уроки для себя. Но как раз этого и не получается. Прошлое, даже недавнее, при нынешнем развитии технических средств, остается прошлым, весьма мало похожим на настоящее. Историзм кажется лишенным прагматизма, действенного характера. Мы остаемся при одном изучении прошлого и не можем сделать никакого вывода для настоящего и будущего.

Более того, правильно замечает Серриньи, что одностороннее изучение походов Наполеона приучило мысль французских ученых и военных деятелей к однообразному трафарету, сделало ее шаблонной и мало гибкой. Исторический пример возводился в канон для неуклонного подражания.

В особенности неудовлетворительно поставлено само пользование военно-историческими примерами; ими положительно злоупотребляют. Примерами из военной истории можно доказать любое положение, в особенности, если оно формулировано в достаточно отвлеченном виде. Даже у теоретиков такого масштаба, как Фош, совершается подбор исторического материала к заранее выработанной схеме.[1]

И тем не менее, каково бы ни было недовольство существующим положением дела, совершенно очевидно, что без постоянного, внимательного и глубокого анализа опыта прошлого нельзя вынести правильного решения. Будущее, как бы оно ни было своеобразно, возникает из прошлого;

---

[1] Смотри статью тов. Трифонова „Анализ, как метод военной истории“. (Военная Мысль и Революция, 1924 г. № 8). Фош посредством своего метода стремится установить, зафиксировать в глазах обучающегося то, что уже существует, как общий признак Наполеоновской армии, четыре момента атаки: подготовку, сосредоточение, внезапность и стремительность. Весь анализ Саальфельдского сражения был нужен не для того, чтобы понять, чтобы вскрыть его внутреннюю закономерность, а для доказательства нужных Фошу положений. И они утверждены им, вопреки действительности.

даже действительность сегодняшнего дня не может быть понята вне связи с прошлым.

Изучение Мировой и Гражданской войн останется очередной задачей и в настоящее время. В частности, можно лишь пожалеть, что опыт Гражданской войны остается недостаточно изученным.

Все же самый подход к историческому материалу, метод его обработки и пользование им нуждаются в пересмотре, ибо зачастую в настоящее время мы идем путями, достаточно известными и поистине заводящими в тупик. Поэтому проблема „историзма" в военном деле становится актуальной задачей современности; из академической она превращается в непосредственно практическую. Здесь метод будет определять наши выводы и предвидения, которые в свою очередь определяют строительство и воспитание армии.

2.

Стратегия XVIII века строилась по образцу наук естественно-математических. Военные знания рассматривали, как чисто технические, как учение об артиллерии, фортификации и пр. Вполне в согласии с догматизмом эпохи некоторые представители этой стратегии думали, что теперь настала пора дать вполне рациональную теорию войны. Но так как и самая война должна была представляться чем-то весьма неразумным и злым (что обычно отождествлялось в „Век Просвещения"), то теория войны не только должна была рационализировать военное дело, но более того — заменить войну или совсем отменить ее. Войны станут излишними, сражения больше даваться не будут, если теоретически, с полной точностью можно рассчитать и взвесить все шансы на успех и поражение. Военная теория призвана в конце концов аннулировать военное дело. Таков был вывод отвлеченной догматики.

Теоретическая мысль XVIII века склонна была слишком игнорировать стихийную сторону войны, она приписывала теории почти неограниченную власть. Вместе с возникновением исторической школы, получившей господство в начале XIX века, взгляды на военное дело коренным образом изменились. Войны не придумываются и не выдумываются, они

возникают отнюдь не в порядке отвлеченно логическом, а в порядке конкретной жизненной необходимости, т.-е. они обусловлены жизнью общества, его противоречиями, которые обнаруживаются в кровавых столкновениях между племенами, народами, классами. Война есть, прежде всего, страстная борьба, а потом уже расчет и размышление, военное дело есть волевое дело, а не умовое, как стал говорить впоследствии Драгомиров. Войны таким образом возникают, как возникают явления языка, права, как складываются государственные учреждения, — они становятся понятными лишь в историческом рассмотрении.

В соответствии с этим коренным изменением взгляда на природу войны изменяется и теория военного дела, она покидает форму отвлеченно-математическую и принимает форму познания исторического.

Отвлеченный рационализм в военном деле пытался дать теорию по возможности законченную. Поэтому он говорил о вечных и неизменных принципах военного дела, изменяющихся лишь частным применением их; подобно тому, как сумма углов в треугольнике равна двум прямым в Испании и в Исландии, до и после основания Рима, точно так же и принципы стратегии остаются неизменными во все времена и у всех народов; они выражены с той же самой ясностью в битвах Эпаминонда и в походах Наполеона; меняются лишь приемы, а не существо дела, все равно, как не изменяются геометрические теоремы от того, нарисуем ли мы чертеж углем на стене или мелом на черной доске.

Исторический взгляд принес коренное изменение в подобные, весьма односторонние, теории. Историзм является принципиальным противником всякого отвлеченного догматизма. Историзм ополчается на догматизм в военном деле столь же рьяно, как и в других культурных областях. Историзм, по самому существу, враждебен всякой застывшей догме.

Исторический метод впервые стал популярным у германских теоретиков, но в дальнейшем, он был принят и в других странах. Можно сказать, что он стал господствующим течением. В действительности, трудно возражать по существу что-нибудь против него. Военная мысль не может пребывать в чистых отвлеченностях, военная мысль

не только теоретична, но и практична, она требует конкретности: военные приемы и способы войны изменчивы и зависят от слишком многих условий. Я уже указывал, что войны, будучи социальными явлениями, меняются в зависимости от социальных условий; на способах ведения войн отражается развитие производительных сил, их приемы существенно видоизменяются под влиянием технических открытий. Поэтому даже те теоретики, которые в общем остались верными традициям Бюлова и Жомини, как, например, профессор Леер, все же признают, что выдвигаемые ими принципы совершенно пусты, что свое содержание они получают лишь от своего употребления, от изменчивого военного опыта; поэтому только военная история может действительно научить чему-либо, военный опыт есть источник наших положительных знаний. Поэтому можно сказать, что в методе военных наук профессора Леера от прежнего догматизма остались лишь одна внешняя форма и схоластический способ изложения, по существу же Леер находится уже в русле мысли XIX века.

Как бы ни был историзм в военных знаниях ныне популярен, нужно признать, что некоторые понимания и истолкования самого историзма глубоко ошибочны.

Историзм можно истолковывать крайне превратно, что случилось уже в других науках, юридических, экономических и пр. В большую заслугу военным теоретикам, в особенности германской школе, нужно поставить то, что они ясно сознали существенные изъяны историзма в его вульгарном понимании, и чуть ли не первые выставили требования решительного преодоления ложного истолкования исторического метода. Они сделали это в то время, когда историзм царил почти безраздельно в других смежных дисциплинах, когда он выдавался чуть не за последнее слово науки. Они одни из первых поставили четко и ясно проблему исторического метода, хотя и не всецело и не сполна сумели разрешить ее.

Проблема эта заключается в следующем. На первый взгляд кажется, что исторический взгляд устраняет и исключает самую возможность каких-либо общих утверждений и принципов вообще. Все изменяется, все течет, нельзя дважды войти в один и тот же поток, говорил Гераклит

Темный и этим открывал дверь для вторжения всевозможного скептицизма. По крайней мере, так истолковывали его софисты. Мы думаем, что опыт прошлого нас способен чему нибудь научить, — на самом деле это иллюзия, от которой нам необходимо отрешиться. Прошлый опыт нас вообще ничему не научает, ибо то, что имело значимость для вчерашнего дня, не имеет никакого значения для сегодняшнего и тем более для будущего. Опытом прошлого, по существу говоря, мы никак не можем воспользоваться. Положительной военной теории поэтому создать нельзя, ибо самый опыт военный не постоянен, а изменчив, он обусловлен бесчисленным множеством условий, которые постоянно следует иметь в виду и которые отнюдь не останутся тождественными. В военном опыте мы имеем, собственно говоря, не один исторический опыт, а вернее ряд или серию опытов, мы принуждены итти от частного случая к частным. Хорошо еще, если мы в состоянии воспользоваться аналогией, при чем не нужно спрашивать, насколько обоснована эта аналогия. Историческое рассмотрение военного опыта имеет прежде всего результат отрицательный, оно изощряет главным образом нашу критику, но не дает чего-либо положительного.

Нужно признать, что только очень немногие военные теоретики делали эти крайние выводы из усвоенного ими историзма и успокаивались на них; большинство представителей, по крайней мере, немецкой школы, испытавшей наиболее сильное влияние историзма, стремилось выйти из создавшегося безнадежного тупика.

Правда, едва ли они располагали достаточными средствами для правильного решения задачи, тем не менее они весьма рьяно боролись против односторонне и ложно истолкованного историзма. Эта борьба запечатлена в одной очень обширной и весьма показательной полемике.

Я имею в виду продолжительный и весьма ожесточенный спор, который вели в свое время, с одной стороны, лучший немецкий историк военного искусства Дельбрюк, а с другой—представители немецкой военной мысли.

Дельбрюк в своей обширной, обстоятельной и ученой истории разрушил легенду, весьма распространенную в немецких военных кругах. Немецкий генеральный штаб изобра-

жал Фридриха II, как непосредственного предшественника Наполеона; по его мнению, Фридрих II практиковал ту же стратегию сокрушения, что и французский император. Если бы это было действительно справедливо, если бы вообще Фридрих II ставил себе подобные цели, то его стратегию пришлось бы расценить крайне неудачной; в ряде походов он не смог осуществить эту задачу; действуя скорее вопреки принципам сокрушения, опыт Фридриховской стратегии явно не укладывается в схему стратегии сокрушения, явно противоречит ей. Многое объясняется, если мы на Фридриха II будем смотреть не как на зачинателя, а видеть в нем скорее конец периода так называемых кабинетных войн. Мы должны, таким образом, поставить Фридриха II не в начале нового периода, а в конце старого. Фридрих был представителем скорее стратегии, действующей на утомление, ставящей себе частные, ограниченные цели, в противоположность Наполеоновской стратегии, стремящейся поставить противника на колени, подчинить его всецело воле победителя, сокрушить его. Стратегия Фридриха диаметрально противоположна стратегии Наполеона.

Немецкие военные писатели почли себя обиженными этими рассуждениями ученого профессора, который по какому-то праву вносит поправки в историческую работу германского генерального штаба, смеет критиковать официальную доктрину, чуть ли не подрывает основы. Шла даже речь об устранении Дельбрюка от профессуры в Берлинском университете.

Нужно признать, что в этом пункте профессор Дельбрюк оказался вполне правым, и когда полемический пыл и задор сменились более хладнокровным и здравым рассуждением, то бывшие его противники начали сдавать ему одну позицию за другой; они стали признавать, что стратегия Фридриха существенно отличается от стратегии Наполеона.

Но эта частная победа ученого историка не должна заслонять перед нами общего смысла этого любопытного спора.

Представители германской военной мысли все же были правы в своих нападках против Дельбрюка, по крайней мере в главном, только свои доводы они не сумели облечь

в нужную ученую форму, они не смогли вести спор принципиально, они не подчеркивали ясно основную ошибку историзма Дельбрюка.

Бернгарди против доводов Дельбрюка замечает, что Дельбрюк рассуждает, как человек штатский, а не как военный. На первый взгляд совершенно неясно, что значит рассуждать по-военному; кажется, профессия не налагает специфического характера на способ рассуждения: в наших рассуждениях мы должны придерживаться некоторых общеобязательных норм и правил логики.

Повторяю, высказанное Бернгарди положение не только звучит парадоксально, но и по существу кажется нелепым. Но не будем смущаться неудачными оборотами слов, попробуем вскрыть его смысл, может быть оно вовсе не содержит подобной нелепости. В самом деле, чего требовал Бернгарди от военной истории? Прежде всего определенного вывода, наставления, как нужно вести войну, он хотел за многоразличными формами военного опыта открыть основание, на которое он мог бы положиться в своей практической деятельности. Ряд военных опытов все же для него является единым, многовековым опытом, который он сам, как военный деятель по специальности, продолжает своей собственной деятельностью. Дельбрюк же этот опыт заставляет распасться: он оказывается двуглавым, полярным; есть стратегия утомления и стратегия сокрушения, между этими полярностями колеблется военный опыт прошлого. К какому из двух примкнуть военному деятелю современности? Об этом военная история ничего не говорит. История военного искусства Дельбрюка заключает в себе многое и различное, но в ней нет единого на потребу, проблема остается нерешенной для военного деятеля, он предоставлен собственным силам. Он сам должен рассматривать обстановку, многоразличные условия ее, при чем никогда не знаешь, принял ли их все во внимание. А вдруг, если включишь еще новые условия, то стратегический план подлежит решающему изменению?

Историческое рассмотрение делает, кажется, самую почву зыбкой под ногами, все течет, и этот поток готов и нас унести в своем течении.

Нужно сказать, что у Дельбрюка отрицательные черты историзма не выступают с большой наглядностью. Если его

послушать, то многовековый военный опыт знает только две стратегии, два типа диаметрально противоположные, все остальное лишь приближение или отступление от этих двух предельных форм. Этот стратегический дуализм весьма настойчиво подчеркивается Дельбрюком, как окончательный вывод из рассмотрения истории военного искусства.

Легко показать, что этот вывод несовместим с последовательным историзмом, на почве которого в остальном прочно стоит почтенный исследователь. Собственно говоря, Дельбрюк должен был бы констатировать не два типа стратегии, а гораздо больше: каждая эпоха имеет свою стратегию; в зависимости от изменившихся условий изменяется и способ ведения войн. Войны, ведомые Периклом, имеют другую стратегию и тактику, чем войны, ведомые Сципионом; войны раннего средневековья по характеру своему совершенно отличаются от войн Ренессанса и т. д. Два типа, утверждаемые профессором Дельбрюком, как две предельных формы, являются результатом рационального и абстрактного представления исторического опыта. Этот „дуализм“ есть тот же догматизм в несколько ослабленной форме, это результат последнего отвлечения, это вывод систематика, мыслящего свой предмет вне времени; он противоположен историческому взгляду, который ведет к конкретному, который всегда помнит, что время имеет зубы, что оно изменяет облик всех вещей и всех форм.

Опасность отрицательного историзма очень мало подчеркнута Дельбрюком, но и того, что у него имеется, было достаточно, чтобы возбудить протест со стороны деятелей германского штаба.

И в этом протесте они были правы.

В самом деле, отрицательный историзм не делает никаких выводов, не дает никаких опорных пунктов для действия; напротив, историзм должен призывать к действию.

Для чего же, спрашивается, изучать опыт прошлого, 150 походов, о которых говорил Наполеон, если тот опыт совершенно не похож на опыт сегодняшнего дня? Для чего обращаться к прошлому, если нас нудит самым решительным образом настоящее?

Если подобный историзм принципиально отказывается от всякого вывода, если он хочет быть только отрицательным, сполна направленным только на одно прошлое, то, может быть, подобная точка зрения и приемлема для профессора истории Берлинского университета, но отнюдь и никак не приемлема для активного деятеля германского генерального штаба, который намечает план войны, которая может разразиться каждую минуту, которая ожидается с часа на час. Для военного нужно нечто совершенно другое, необходим принцип, исходный пункт, который лег бы в основу будущих действий. Но где же обрести эту опорную точку? Во всяком случае не в чистом разуме, не в вечных и неизменных принципах, не в методе Жомини, следовательно, опять-таки в опыте и в истории, но уже понятной и истолкованной совершенно иначе, чем у проф. Дельбрюка.

Вот вопросы и недоумения, которые естественно встают перед практическим деятелем. Их совершенно не может и не хочет рассеять Дельбрюк. Он сам это открыто признает. „Я интересуюсь военной историей“,—пишет он в своем ответе Бернгарди,—„чисто теоретически, мне нет дела до практики. Я анализирую прошлое, и вовсе не создаю рецептов для будущих действий. Конечно, может быть, картина прошлого, начертанная мной, и окажет косвенным образом воздействие на творческую мысль, но это лежит вне сферы моей компетенции и даже моего внимания. Я не военный деятель“.—Этим самым проф. Дельбрюк со своей стороны признает, что нужно рассуждать по-военному, он признает парадоксальный на первый взгляд тезис Бернгарди, ибо прав был Мольтке, сказавший, что **„военная мысль есть нечто большее, чем раньше, она есть знание, плюс действие“.**

Мы стоим словно перед какой-то загадкой. Все эти „чисто военные рассуждения“, которые отличаются от рассуждений штатских, это „знание“, которое есть в то же время и „сверхзнание“, конечно, лишь слова со всем смутным внутренним содержанием, но они четко и резко ставят проблему, в частности, указывают на недостатки и изъяны историзма, как он обычно понимается в различных „исторических школах“.

Это высказанное недовольство, этот протест нужно поставить, как я говорил, в заслугу немецкой военной мысли. В самом деле, когда историзм торжествовал легкие победы

на всех поприщах наук о культуре, в юриспруденции, политической экономии и пр., когда этот отрицательный историзм царил почти безраздельно, теоретики военного дела настойчиво против него протестовали, настаивали на ограниченности этой весьма ограниченной точки зрения.

Правда, приходится признать, что этот протест остался у них только протестом, положительного решения они ни в коем случае не дали. Скорее обратное: они пошли по совершенно ложному пути—стали вводить мистицизм в военное дело.

Таким мистиком в военном деле является генерал Шлиффен в своем знаменитом сочинении „Канны".

Метод его рассуждений крайне характерен, можно сказать, прямо исключителен; он самым резким образом отличается, как от историзма Дельбрюка, так и от абстракции Жомини. Шлиффен стремится сквозь всемирно-исторический опыт, сквозь ряд событий, разгадать и узреть идею битвы, имеющей результатом совершенное уничтожение неприятельских сил (Vernichtungsschlacht). Эта идея нигде, ни в каком опыте, не находит себе воплощения, она безусловна, есть вечно идеальное, а отнюдь не фактическое, только прообраз, раз на всегда сущий и утвержденный для подражания для всех времен и народов.

Его можно угадать, увидеть в ряде частных, всегда несовершенных, отображениях и примерах, поэтому необходимо самым тщательным образом изучить историю военного искусства; великие примеры великих военных подвигов так или иначе приближаются к этому идеальному образу, так или иначе его выражают и тем самым способствуют нашему узрению идеальной его сущности, но в то же время этот образ превосходит всякий опыт и отнюдь недостижим для чисто-исторической мысли, его можно видеть только духовным взором, анализу и абстракции доступны только подступы, только ступени к этим интеллектуальным вершинам.

Ярко выраженный „платонизм" генерала Шлиффена увлек очень многих, он стал Учителем с большой буквы, „Канны" превратились в канон. Авторитет Шлиффена до самого последнего времени оставался непоколебленным. Но теперь едва ли эти методы кого-либо увлекут. „Современная война проникнута духом техники, организации, научности,"—говорит в предисловии к своей общей тактике Кюльман. С этим тезисом нельзя не согласиться.

3.

Теория историзма в военном деле остается неразрешенной в наши дни. Заметна даже реакция против него, все возрастающая, и это не только в военном деле, но и в других смежных дисциплинах. Противники его подчеркивают пассивность и эстетизм, присущий отрицательному историзму. Все больше и больше намечается стремление обрести, наконец, единое спасительное слово и принцип; порой эти искания заставляют вернуться вспять, из бывших кумиров создаются современные идеалы, снова возрождается культ гения Наполеона, дело которого продолжали „гениальные" маршалы современной Франции, и пр.

Однако, можно с наглядностью показать, что далеко не всякий историзм имеет те отрицательные черты, которые нам пришлось выше констатировать. Уже у Клаузевица и его диалектики можно искать положительного решения.

Для Клаузевица история и теория военного дела теснейшим образом связаны. Историческое рассмотрение собственно и создает потребность в теории. Историзм Клаузевица является в полной мере положительным. На этих основаниях и характерные черты метода Клаузевица остались не замеченными. В Клаузевице ценили другое.

Прежде всего подчеркивали, что Клаузевиц был весьма враждебен догматизму XVIII века, что он настаивал главным образом на критике и критическом рассмотрении. Клаузевица даже упрекали в том, что у него нет положительных решений, что он слишком часто говорит о том, чего не следует делать, и крайне скуп на положительные указания.

И тем не менее Клаузевиц вовсе не отрицает всякую теорию вообще; напротив, можно сказать, он весьма глубокомысленно ее обосновывает. Положительная теория, несомненно, есть у Клаузевица; не видать ее, значит не понимать, какие цели ставил себе Клаузевиц в своем сочинении „О войне"; все дело в том, что то, что Клаузевиц подразумевает под теорией, совершенно не укладывается в привычные нам

схемы, мысли. От Клаузевица требуют конкретных указаний и предписаний, как будто он мог их давать, не создавая в то же время застывшего военного шаблона, против которого он яростно боролся и который, по его мнению, всегда приводит к поражениям. Клаузевиц был диалектиком, и его критики, которые принципиально не хотят становиться на эту точку зрения, не усматривают положительного содержания там, где оно бесспорно имеется в диалектической форме.

Во всяком случае Клаузевиц не был представителем отрицательного историзма, каким его стремятся представить некоторые исследователи, он стоял на почве историзма положительного, диалектического. Этот пункт столь важен, что нам необходимо несколько расширить рамки нашего изложения; мы дошли до большого поворотного пункта.

Дело в том, что Клаузевица совершенно нельзя понимать вне обще-философского течения, господствовавшего тогда в Германии, вне немецкой идеалистической философии. Роднят Клаузевуца с представителями немецкого идеализма как его „диалектика“, так и его „система“, его понимание войны, как чисто морального явления. Клаузевиц в противоположность материалистам XVIII века, которые сосредоточили свое внимание на изучении средств и орудий борьбы, хочет уяснить себе духовную природу войны. Здесь мы можем оставить в стороне идеалистическую систему Клаузевица,—тем любопытнее его метод.

Правда, отношение Клаузевица к немецкому идеализму в деталях далеко неясно. В частности, совершенно не установлено, что̀ именно он заимствовал у Гегеля, насколько он сам его знал и читал и насколько он мог познакомиться с ним через вторые руки, хотя бы через посредство полковника Грисгейма, который был близким другом Клаузевица и прилежным учеником Гегеля. Все эти вопросы очень еще смутны, но нужно помнить, что сам Гегель является самым ярким, самым последовательным, из целой плеяды германских философов. Немецкая идеалистическая философия несомненно является той общей атмосферой, в которой созревает мысль Клаузевица, вне ее влияния совершенно невозможно объяснить ни одну страницу из труда Клаузевица „О войне“, это явление ярко отражается на самой

манере изложения, на этих постоянных дедукциях из „сущности“ и из „понятия“ предмета.

Начинается немецкий идеализм с особого истолкования Канта. В философии Фихте мы имеем все элементы диалектики, правда, не вполне законченной и завершенной. Клаузевиц в своем развитии мог итти в общем русле. Во всяком случае понимание диалектики в немецком идеализме способно осветить многие темные стороны метода самого Клаузевица.

Диалектика немецкого идеализма теснейшим образом связана с историзмом. История для мышления XVIII века являлась камнем преткновения, „историческое“ было областью иррационального, естественное и разумное находилось вне сферы исторического.

Все конкретные учреждения частной и общественной жизни, исторически возникшие и сложившиеся, подверглись резкой критике со стороны французских просветителей, которые не хотели и не могли уразуметь „разумности“ их существования, они попросту их отрицали и отбрасывали. Но историческая действительность, признанная неразумной, отнюдь не хотела подчиниться тем предписаниям, которые диктовала ей отвлеченная чистая мысль; самым фактом существования она отрицала их и делала бессильными, несмотря на все средства и усилия провести их в жизнь. Великий эксперимент французской революции служил тому достаточным доказательством.

Немецкий идеализм радикально изменил существовавшие ранее критерии и оценки. Отвлеченная мысль, согласно этой философии, является всегда пустой и бессодержательной мыслью, она вскрывается, как сплошное противоречие, себя отрицающее. „Все отвлеченные начала“ подлежат одной лишь критике. Только конкретное есть истинное. Эта конкретность дана нам в историческом процессе, этот процесс является единственным источником содержания мысли. Гегель в конце своей „Феноменологии“ так резюмирует это положение: „кладбище прошлого есть источник бесконечного содержания для настоящего“.

Историческое есть разумное, оно возникает в силу необходимых законов, эти законы не являются пустыми отвлеченностями, они сполна находят себе выражение в возни-

кающих явлениях, нас окружающих; эти законы являются „сущностями“ этих явлений, разумной стороной того, что дано нам в опыте.

В соответствии с этим Гегель ведет весьма проницательную полемику против реакционного историзма, который в явлениях правовых не был склонен видеть какую-либо разумность, а скорее, напротив, неразумность, продукт стихийного процесса; Гегель ополчался против отрицательного историзма; по его мнению опыт исторический, на почве которого он сам стоит, ведет к историзму положительному, дающему вполне определенный и разумный вывод.

Вместе с изменением оценки исторической действительности существенно изменяется и понимание самого знания (здесь особенно видна близость Клаузевица к немецкой идеалистической школе). Никакое правило и общее отношение, формулированные отвлеченно, не могут претендовать на какую-либо значимость. Всякое содержание совершенно пусто и даже бессмысленно, если не принимается во внимание, как мы до этого содержания доходили, без рассмотрения процесса, в котором это содержание складывается. Взятое вне этого процесса, как нечто застывшее, раз навсегда готовое, законченное, оно превращается в бессмысленный шаблон, годный для всех случаев и в то же время никуда негодный.

Многих критиков поражала некоторая „незаконченность“ мысли у Клаузевица, но эта незаконченность вовсе не обозначает хаос и путаницу, а лишь требование дальнейшего критического рассмотрения, которое может быть продолжено и вместе с этим продолжением должно меняться по самому содержанию. Определенность мысли ничуть не терпит ущерба от того, что сама мысль развивается и не терпит остановки.

Мысль военного деятеля прежде всего стремится преодолеть хаос и путаницу, множащуюся вокруг него в силу страстной аффективной природы боя и войны, он сам захвачен и увлечен огненной природой событий, он будет стремиться к ясности, к сознательности, его мысль в силу необходимости должна будет принять вид акта самосознания, как говорилось в идеалистической философии, или „понимания практики“, как выражался Маркс, но она никогда не может принять форму застывшего определенного содержания.

То, что в немецкой идеалистической философии выражено порой весьма неясно и туманно (неясность присуща порой и самому Клаузевицу, поэтому его так часто и не понимают), находит себе гораздо более четкое выражение в современной научной диалектике. Можно указать в современной литературе по экономическим вопросам весьма любопытные параллели к тем спорам, которые волновали военных теоретиков.

Это сделать тем легче, что в работе Н. Бухарина „Политическая экономия рантье“ мы имеет вполне достаточный и вполне подобранный материал, нужный нам. В своей книге Н. Бухарин сопоставляет диалектический метод Маркса с буржуазным историзмом, с одной стороны, и с отвлеченным догматизмом австрийской школы—с другой. Характеристика, даваемая Н. Бухариным, отличается большой ясностью и отчетливостью формулировок.

Сам Маркс,—пишет Бухарин,—самым резким образом подчеркивал исторический характер экономической теории и относительность ее законов; по его мнению, каждый исторический период имеет свои законы, и как только жизнь перешла период данного развития, вышла из данной стадии и вступила в другую, она начинает управляться уже другими законами. Но отсюда отнюдь не вытекает, что Маркс отрицал все и всяческие общие законы, которые определяли бы ход общественной жизни на различных ступенях развития.

Совершенно неправильно полагать, что признание историчности с неизбежностью влечет за собой идеографический, чисто описательный, тип теории. Но именно последнее утверждает так называемая историческая школа политической жизни (Рошер, Шмоллер, К. Бюхер и др.).

Историческая школа относится отрицательно ко всякой теории вообще. „Историки“ с логической стороны характеризуются прежде всего своей отрицательной позицией по отношению к абстрактной теории. Основное настроение историков—глубокое отвращение к подобным исследованиям. Уже самая возможность последних подвергалась сомнению, а иногда и прямо отрицалась; слово „абстрактный“ приобрело у ученых этого типа значение бессмысленного, некоторые стали скептически относиться к наиболее важному понятию всякой

науки,—понятию закона, в лучшем случае принимали только так называемые „эмпирические законы", открываемые историко-экономическим и статистическим исследованием.

Вместе с исторической школой, таким образом, выступает узкий эмпиризм, боящийся широких обобщений,—крайние представители школы провозглашали своим лозунгом понимание конкретного исторического материала, а обобщающую теоретическую работу предлагали отложить на неопределенное время.

Совершенно правильно против подобных тенденций исторической школы восстает Н. Бухарин. „Точка зрения исторической школы совершенно несостоятельна... познание вообще невозможно (курсив у Н. Бухарина) без абстракций, уже самое понятие есть отвлечение от конкретного, всякое описание предполагает известный отбор явлений по признакам, считаемым почему-либо важными. Абстракция является, таким образом, необходимым признаком познавательной деятельности".

Таким образом, мы ясно видим, что диалектическая точка зрения далеко не совпадает с тем методом, который практикует историческая школа. Историзм диалектический не враждебен теории, напротив, он дает все средства для образования такой теории. В современной диалектике теория и история не противоположны друг другу, а теснейшим образом связаны. Работы Маркса представляют яркий пример такого положительного историзма в противоположность историзму отрицательному.

Марксу не раз приходилось высказываться весьма резко против исторической школы.

„Существует школа,—пишет Маркс в критике Гегелевской „Философии права",—которая оправдывает подлость сегодняшнего дня подлостью вчерашнего дня, школа, которая объявляет мятежным всякий крик крепостного против кнута, так как этот кнут старый, веками установленный, кнут исторический, школа, которой история, как бог Израиля своему слуге Моисею, показывает лишь свое a posteriori, словом, историческая школа права. Эта школа изобрела бы немецкую историю, если бы сама она не была изобретена немецкой историей. Подобно Шейлоку, но Шейлоку-лакею, она при каждом фунте мяса, который вырезывается из сердца

народа, клянется своим векселем, своим христианско-германским векселем".

Эта историческая школа стремится быть всецело фактичной и становится антиразумной; историческая школа по существу скептична. Эту сторону исторической школы Маркс подчеркивает в особенности в статье, направленной против Гуго (Философский манифест исторической школы права). „Гуго,—пишет Маркс,—ничуть не старается доказать, что положительное—разумно. Он старается доказать, что положительное неразумно. Изо всех концов мира он собирает доказательства, чтобы сделать возможно более очевидным, что положительные институты, как собственность, государственное устройство, брак и т. п., не одушевлены никакой разумной необходимостью, что они даже стоят в противоречии с разумом, что самое большее можно приводить пустячные доводы за и против них. Нельзя приписывать этот метод недостаткам случайной индивидуальности Гуго,—метод его принципа откровенно наивный, ни с чем не считающийся метод исторической школы".

Будучи скептична по существу, историческая школа в то же время глубоко некритична; собирая и множа факты, она не может в них разобраться, усматривать существеннейшие в них различия. „Согласно Гуго, сиамец, который считает соответствующим вечному порядку природы, если его король зашивает рот болтуну или же разрезает неловкому оратору рот до ушей, так же положителен, как и англичанин, который бы счел политическим парадоксом, если бы его король собственной властью установил новый налог в один пфенниг. Бесстыдный бушмен, который бегает нагишом, который в лучшем случае покрыт грязью, так же положителен, как и француз, который одевается, и не только одевается, но и элегантно одевается". Эти критические замечания Маркса сохраняют полную силу против военно-исторической школы, которая действительно скептична и некритична.

В то же время Маркс сам стоит на исторической точке зрения, но эта историческая точка зрения, имея совершенно иную логическую установку, не враждебна ни критике, ни разумному выводу. Маркс стоит на точке зрения развития, и каждое явление общественной и частной жизни он рас-

сматривает, как момент этого развития. Эта точка зрения лежит в основе „Коммунистического манифеста“ и „Капитала“. Критика политической экономии основана на этом принципе.

Представители классической политической экономии хотели видеть в социальном строе, покоящемся на конкуренции, абсолютный порядок вещей; они полагали, что открыли естественный закон, управляющий экономическими отношениями людей. Эти законы, подобно законам физики, уже были истинны и тогда, когда их еще и не знали; они имеют значение как для прошедшего, так и для будущего. Невозможно предположить, чтобы мы могли измениться, невозможно представить себе иные законы, которые бы им противоречили.

Против этого догматизма Маркс и выдвигает свой метод; он показывает, как определенный экономический порядок слагался и в силу каких причин он должен смениться другим. Экономические категории — суть исторические категории. Не только на прошедшее, но и на настоящее, мы должны научиться смотреть с исторической точки зрения, и тогда это настоящее, с одной стороны, предстанет перед нами, как результат прошедшего, а с другой стороны, мы научимся читать в этом настоящем будущее. Капиталистическое производство приведет к своему собственному отрицанию с фатальной необходимостью, присущей метаморфозам природы.

Эта возможность чтения в настоящем будущего, не присочиняя при этом каких-либо утопий, по мнению Маркса, основана на том, что само развитие протекает закономерно, и мы, изучая настоящее, научаемся понимать и формулировать закон этого развития; историческое рассмотрение не противоположно критике и обобщающему выводу, а, напротив, требует критического отношения и ведет непосредственно к определенному подитоживанию исторического опыта.

Весьма любопытно истолкование исторического метода Маркса у Ленина, делаемое им в книге „Государство и Революция“.

Свой основной тезис, что смена буржуазного государства пролетарским невозможна без насильственной революции и что уничтожение всякого государства невозможно иначе, как путем отмирания, Ленин обосновывает на анализе тех выводов, которые делали Маркс и Энгельс, из уроков опыта

каждой отдельной революции, начиная с 1848—1851 г.г. Большая часть книги Ленина носит в соответствии с этим исторический характер, но в то же время исторический анализ дает определенный положительный вывод о классовом обществе и государстве.

Опыт революции 1848—1851 г.г. дает уже формулировку одной из самых замечательных и важнейших идей марксизма в вопросе о государстве — идею „диктатуры пролетариата“. Если в „Коммунистическом манифесте“ вопрос о государстве поставлен „крайне абстрактно“, в самых общих понятиях и выражениях, то в „18 Брюмере Луи-Бонапарта“ этот вопрос „ставится открыто, и ответ дается чрезвычайно точный и определенный, практически-осязательный: все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать“.

Приписывая этому выводу большое значение, Ленин указывает методологические основы его. В „Коммунистическом манифесте“ подведены общие итоги истории, заставляющие видеть в государстве орган классового господства и приводящие к необходимому заключению, что пролетариат не может свергнуть буржуазию, не завоевав сначала политической власти, ... не превратив государство в организованный, как господствующий класс, пролетариат, и что это пролетарское государство сейчас же после его победы начнет отмирать, ибо в обществе без классовых противоречий государство не нужно и невозможно“. В „Коммунистическом манифесте“ еще не ставится вопрос о том, какова же должна быть с точки зрения исторического развития эта смена буржуазного государства пролетарским.

Именно этот вопрос Маркс ставит и решает в 1852 г. „Верный своей философии диалектического материализма, Маркс берет в основу исторический опыт великих годов революции 1848—1851 г.г. Учение Маркса и здесь, — как и всегда, освещено глубоким философским миросозерцанием и богатым знанием истории — подитоживанием опыта“ (курсив мой).

Это указание весьма отчетливо рисует методологический подход Ленина к истории. Знание истории дает в результате подитоживание исторического опыта; учение Маркса есть такое подитоживание опыта на основе истории. Это понимание учения, как подитоживание исторического опыта

конечно, крайне характерно для исторического материализма и для материалистической диалектики. Ленин подчеркивает возможные здесь отклонения в понимании учения.

„Не логические рассуждения, а действительное развитие событий, живой опыт 1848—51 г.г., привели к такой постановке задачи. До какой степени строго держится Маркс на фактической базе исторического опыта,—это видно из того, что в 1852 г. он не ставит еще конкретно вопроса о том, чем заменить подлежащую уничтожению государственную машину. Опыт не давал тогда еще материала для такового вопроса, поставленного историей на очередь дня позже, в 1871 г. В 1852 году с точностью естественно-исторического наблюдения можно было констатировать, что пролетарская революция подошла к задаче „сосредоточить все силы разрушения против государственной власти", к задаче „сломать государственную машину".

Это весьма характерное замечание. Логические рассуждения в смысле вывода из обще-признанных положений оказываются бессильными при конкретном анализе исторической ситуации, которая требует всегда самостоятельного решения. Все дело в том, чтобы подвести к задаче, которую придется уже решать из обозначившихся условий самой задачи, которая должна быть дана в живом историческом опыте, а не выдумана из головы или сконструирована путем логических рассуждений.

В этом отношении изучение Мировой и Гражданской войн должно способствовать тому, чтобы армия подошла к задаче—будущей войны. Самую эту задачу ей придется решать самостоятельно, не подражая каким-либо историческим трафаретам.

Размеры этой работы не позволяют долго углубляться в предмет. От этапа к этапу Ленин следит за развитием революционной борьбы, и его учение складывается, как подитоживание этого исторического опыта, при чем метод остается всюду один и тот же. В следующих словах этот метод получает наиболее яркую характеристику: „У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинил, сфантазировал „новое" общество. Нет, он изучает, как естественно-исторический процесс, рождение нового общества из старого, переходные формы от второго к первому. Он берет

фактический опыт массового пролетарского движения и старается извлечь из него практические уроки".

Я вкратце изложил историческую проблему, как она ставится современной экономической мыслью и как она разрешается Марксом. Это решение, мне кажется, может бросить яркий свет на диалектику Клаузевица, которая остается все еще непонятой, и не только его противниками, сколько и теми, кто выдает себя за его последователей и учеников, которые истолковывают его порой весьма превратно.

Но хотя принцип метода утерян современными теоретиками военного дела, все же основные тенденции его продолжают жить в военной литературе.

Несомненно, наряду с отрицательной диалектикой в военной литературе представлена в той или иной форме и диалектика положительная; по крайней мере, историю стараются рассматривать не только как область критики, но также использовать в целях положительного вывода.

Собственно говоря, потому и изучают столь ревностно опыт каждой большой войны, что этот опыт дает пример некоторого примечательного урока, что он является как бы историческим экспериментом, что он намечает линию дальнейшего развития. Такова, например, работа не только над опытом Мировой войны, но и прежние войны рассматривались именно с этой точки зрения. В качестве примера я мог бы указать на прекрасную книгу генерала Ланглуа, о которой мне еще придется говорить. Ланглуа разбирает опыт русско-турецкой и англо-бурской войны для того, чтобы из учета этого опыта сделать вполне определенный вывод для настоящего и будущего.

Отнюдь не должно думать, что история является наукой, направленной только на прошлое, она вовсе не ведет лишь к одному созерцанию. Правильно понятый историзм включает в себя и настоящее и будущее, заключает в себе призыв к действию. Во всяком случае история не менее прагматична, чем естествознание.

Так думали творцы исторической диалектики, немецкие идеалисты, на этой же точке зрения стоит Маркс, так же понимал эту проблему Клаузевиц, на этом понимании строил свою систему Мольтке.

Военная мысль во многом удержала эту традицию, правда, во многом в ослабленной форме, но все же удержала, в то время как в других науках господствовавший историзм обычно вырождался лишь в простое, лишенное всякого обобщения, описание прошлых событий и сознательно отказывался от всяких выводов.

В этом смысле крайне характерно отношение к истории такого писателя, как Шлихтинг.

Шлихтинг в своей книге „Основы современной тактики и стратегии“ стремится выяснить приемы ведения современных войн и боя и связанные с ними основания боевой подготовки армии. Совершенно правильно замечает Шлихтинг: „теория имеет практическое значение лишь в том случае, если она дает положительное учение“ (стр. 1).

Это положительное учение Шлихтинг обретает в результате исторического анализа, к которому он постоянно прибегает при обосновании своих выводов; в соответствии с этим учение об операциях он развивает путем сравнения стратегии былых времен с современной, и этим путем устанавливает переход от прошлого к настоящему. Равным образом в тактике он начинает с очерка боя Наполеоновской эпохи и с анализа боевых средств его времени. Шлихтинг, правда, не изображает полного хода боя и сражений, он сопоставляет, по его выражению, „общие и неоспоримые данные“, в качестве своей главной цели он стремится проследить изменения, происшедшие в тактике в течении прошлого века.

Исторические рассмотрения, как таковые, предпринятые только ради изучения прошлого, Шлихтинг ценит весьма низко.

„В книгах пишут, — говорит он (стр. 2), — что Фридрих или Наполеон смолоду изучили походы Цезаря и Евгения и тем подготовили себя к своему великому призванию полководца. С точки зрения науки подобная басня не выдерживает никакой критики. Великие деяния этих военных людей, конечно, могли воспламенить воинственно настроенную фантазию своих читателей, но едва ли они послужили прочным основанием для их собственных подвигов“.

Из данных истории нельзя отвлеченным анализом извлечь общие и неизменные примеры стратегии и тактики; таких принципов, прежде всего, не существует.

„Стратегия не есть постоянная наука, как, например, математика с ее суммой углов в треугольнике или астрономия, даже с ее гипотезой Лапласа. Она вытекает из условий эпохи и из предоставляемых последнею боевых средств. Методы ее подвергаются постоянным изменениям. Поэтому, кто хочет ограничится практическими целями, тому всего лучше обосновывать свои взгляды на будущее на изучении ближайшего прошлого. Данную теорию всего лучше можно извлечь из новейшей военной истории“.

Эти немногие методологические указания чрезвычайно характерны и содержательны, в особенности они ценны потому, что Шлихтинг остался им верен на протяжении всего своего труда и в своей практической деятельности воспитателя немецкой армии.

Мы видим, что военная теория должна быть положительной и практической; она может стать таковой только в том случае, если она будет обоснована исторически, при чем эти исторические рассмотрения не должны нас уводить обязательно в глубокое прошлое, в седую старину; напротив, — главным образом нас должно интересовать ближайшее прошлое, ибо в нем мы находим генезис, возникновение настоящего и будущего. Мы должны научиться смотреть на окружающие нас явления исторически, понимать их в их развитии, смотреть на них, как на нечто изменчивое, порождающее новое, а не только как на готовый результат.

В этом смысле использование военной истории у Шлихтинга весьма поучительно.

Мы видим у него действенное понимание истории, анализ развивающегося опыта, стремление наметить тенденцию будущего и последовательную, порой весьма резкую, борьбу с отживающими старыми традициями на основе все более четко обозначающихся требований будущего. Шлихтинг в этом смысле выгодно отличается от пассивного историзма, чурающегося выводов, боящегося обобщений и никогда не поднимающегося до принципиальной критики.

При всем том нужно сказать, что исторический метод Шлихтинга не может удовлетворить, он недостаточен. Критиковать Шлихтинга тем легче, что теперь, после опыта Мировой войны, неудача предвидений Шлихтинга вполне очевидна.

В Мировую войну теория Шлихтинга потерпела полную неудачу. Ни его стратегия, ни его тактика в Мировую войну, за исключением немногих случаев, не оправдалась, не могла быть приложена к делу. Мировая война явила совершенно новый облик войны, который Шлихтинг не смог предвидеть.

Сам Шлихтинг хочет дать предвидение будущего, но на самом деле он дает лишь теорию прошлого опыта, будущее он рассматривает, как повторение в существенных чертах того, что уже дано в прошлом. Поэтому Шлихтинг весьма полезный источник для анализа и понимания войн 60-х и 70-х годов, но он оказался плохим воспитателем немецкой армии. Неудачу на Марне нужно приписать во многом его влиянию. В особенности изъяны управления и руководства в этой битве, которые породили разрыв фронта у немцев и сделали тщетными все наступления, все наступательные усилия второй армии, нужно отнести на счет принципов оперативного искусства, которые горячо отстаивались Шлихтингом.

Самым ярким примером неудачного применения доктрины Шлихтинга в Мировую войну является сражение при Изере, в котором погиб безрезультатно цвет немецкого юношества.

Шлихтинг хочет наметить пути будущего, но на самом деле он понимает и освещает прошлое: военную мысль Мольтке. В этом он сходствует с весьма многими военными теоретиками, наиболее прогрессивными. Все они, в лучшем случае, дают лишь анализ настоящего; будущее для них — темно.

Случайно ли это?

Шлихтинг настолько искренний писатель, что он ясно обозначил рубеж, который не может и не хочет перешагнуть его мысль. Намечая основные вехи развития стратегии и тактики, он сопоставляет Фридриха, Наполеона, Мольтке. Можно провести одну непрерывную линию развития от Наполеона до Мольтке, но между Фридрихом и Наполеоном мы видим неожиданный разрыв и скачок. Эту резкую перемену вызвала Французская революция. „Республиканские войска разрушили доктрины военного искусства XVIII века вместе с старыми этическими и государственными доктринами“; поэтому Иену можно сравнить, до некоторой степени, с гибелью богов, и положение побежденных было прямо-таки

трагично, ибо побеждена была армия, которая более всех погрязла в устарелых и негодных доктринах, почив на прежних лаврах. „Поэтому, — говорит Шлихтинг, — современная нам теория базируется непосредственно на Наполеоновской. Нить между ними не порвалась, как от Фридриховской к последней, и в этом заключается существенное различие между этими эпохами. Но зато средства войны изменились и возросли с 1815 по 1866 г. в такой степени, как не изменились они до тех пор за пять столетий. Достаточно назвать: рост культуры и развитие сети искусственных дорог, железные дороги и электрический телеграф, нарезное оружие и увеличение армий, — как результат всеобщей воинской повинности по системе Шарнгорста. Все эти факторы следует иметь в виду для обоснования современной стратегии, которая может быть названа только именем Мольтке“ (стр. 8).

Шлихтинг таким образом знает, что в развитии можно наблюдать „неожиданный разрыв и скачок“. Между стратегией и тактикой Наполеона и Мольтке такого разрыва и скачка не наблюдалось, но все же средства войны претерпели самое существенное изменение: мы видим рост технических средств войны и определяющее влияние этого роста на все военное дело. Шлихтинг констатирует этот факт с полной определенностью, словно не замечая, что у читателя возникает вопрос: не намечается ли для ближайшего будущего новый разрыв и скачок в развитии, не стоим ли мы перед новым кризисом, не потребует ли ближайшая война, в которой, наверное, будут пущены в ход все технические средства тех стран, которые она захватит, новых форм и новых методов как стратегии, так и тактики? Может ли быть приложен к будущему опыт Мольтке?

Такого вопроса у Шлихтинга, как это ни странно, не возникает.

Напротив, можно сказать, что он чувствует себя скорее в начале нового развития, чем в конце эпохи, которая пережила себя. Отчасти можно объяснить себе причины этой иллюзии. Для германской армии, для ее комсостава, Шлихтинг был во многом чересчур прогрессивным. Ему постоянно приходилось бороться с различными пережитками в германской армии, с различными предрассудками, глубоко врезав-

шимися и вкоренившимися в сознание. Он хорошо сознавал трудности борьбы в этой обстановке, и он мужественно вел ее. В конце концов его задача свелась к тому, чтобы разъяснить оперативную мысль Мольтке германской армии. В этом Шлихтинг вполне успел. Но реальное развитие, требования современности значительно опередили его. Мировая война была весьма мало похожа на войны 60-х — 70-х г.г.

Заключая все сказанное, можно сказать, что недостаток предвидения у Шлихтинга и других военных писателей является далеко не случайным. Здесь сказывается недостаток научного метода. Если мы в этом пункте сравним историзм Маркса с тем историзмом, который мы находим у Шлихтинга и у других военных писателей, то должны будем признать, что первый выгодно отличается от последнего.

У Маркса лицо истории повернуто не назад, а вперед; он детализирует настоящее, чтобы обосновать предвидение будущего. Он устанавливает закон развития. Единственным методом для вырешения этой задачи может быть научная диалектика. Анализ настоящего должен показать исчезновение настоящего в будущем и рождение будущего в гибели настоящего. Настоящее должно быть понято, как ступень к будущему. Будущее закономерно возникает из настоящего, и предвидение можно построить только на диалектическом знании этой связи.

Благодаря этому, с другой стороны, диалектическое предвидение никогда не отрывается от настоящего: мысль не становится утопической и мечтательной, она остается реалистической до конца. Диалектический анализ остается в пределах фактов, он только глубже вскрывает их сущность и констатирует заложенные в них тенденции развития. Будущее в конце концов определено прошлым и настоящим. Поэтому так важно изучение прошлого и настоящего.

В этом смысле даже идеалистическая и рационалистическая диалектика Клаузевица оказалась более дальнозоркой, чем исторический анализ Шлихтинга.

Клаузевиц в главе о плане войны, когда целью служит уничтожение противника, говорит: „центр тяжести французской империи лежит в ее вооруженных силах и в Париже. Разбить эти силы в одном или нескольких сражениях, овладеть Парижем, отбросить остатки неприятельских войск за

Луару — такова должна быть цель союзников". (Клаузевиц „О войне" т. II, стр. 379, русск. перев.). Война 1870 года буквально подтвердила эту мысль великого военного мыслителя.

Военная мысль имеет в себе все элементы для более правильной и углубленной реформы, чтобы выйти на дорогу научного осознания и положительного истолкования исторического военного опыта. В этом большое преимущество военной теоретической мысли по сравнению с параллельными течениями в других дисциплинах о культуре. Там мы действительно находимся в каком-то тупике, из которого нет выхода.

Философию хотят заменить историей философии, и при этом забывают, что можно знать сколько угодно систем, относящихся к прошлому, и все же не обладать ни одним принципом истинного познания; это вечно длящиеся годы ученичества, которые так и не переходят в годы мастерства. Да к тому же, как я могу изучать философскую систему без всяких критериев, без всяких оценок, без всяких философских принципов.

То же и в других науках, история стремилась заменить принцип и живое творчество — изучением и созерцанием прошлого. Так было в области юриспруденции, но так было и в области искусства. В художественных академиях учили понимать и чувствовать стили всех решительно эпох, а в настоящем в лучшем случае лишь создавать стилизации; академии выпускали людей, которые были совершенно неспособны создать собственный стиль, выражающий нужды и требования нашего времени. И вот мы видим возникновение футуризма, который готов бросить все ценности прошлого с корабля современности и который ввергает нас в художественный хаос и произвол, выдаваемый за гениальность.

Сколько раз военная мысль стояла перед аналогичными катастрофами, создававшимися объективными условиями! Стремительно развивавшаяся техника вторгалась в область военного дела и революционизировала его. Казалось, что рушатся все устои, что нужно радикально отбросить все прошлое, чтобы начать работу по совершенно новому плану согласно новым возникающим требованиям. Этот радикализм

удалась и оправдала себя. У французов в Седанскую битву сменилось три главкома (Мак-Магон, Дюкро, Вимпфен), и каждый из них поочереди имеет свой план действий. Мак-Магон решается дать сражение пруссакам. Дюкро отдает приказ отступить к Мезьеру. Вимпфен считает единственно спасительным средством пробиваться на восток. Все трое имеют совершенно самостоятельные планы и проводят их поочереди в жизнь, чем только еще более, ухудшают положение армии. У немцев, благодаря единству доктрин, сменяющиеся начальники зачастую действовали, как один человек.

Таков опыт прошлого, и в настоящее время идеи Мольтке едва ли подобает совершенно устранить и отбросить, скорее они подлежат дальнейшему углублению и развитию, на основе более совершенных принципов организации. Основная тенденция исторического развития была уловлена Мольтке совершенно правильно.

Таков положительный историзм в его применении к военному делу, но историзм действительно имеет и момент отрицания. Он способен, как нельзя более, содействовать пробуждению от догматического сна, к чему так тяготеет всякая мысль. Действительно, историзм не позволяет остановиться военной мысли, заржаветь в бездействии. Создаются не только новые формы войны, но отмирают и старые. Всякий военный опыт единственен в своем роде, совершенно нелепо воскрешать в условиях современности стратегию Наполеона. Историзм направляется против всякого шаблона, против всевозможных универсально действующих средств, историзм требует не отвлеченной, а конкретной мысли. Поэтому исторический метод является источником положительных явлений в той же мере, как и отрицательной критики. „Да“ — „нет“ теснейшим образом сплетены в диалектическом методе. Диалектика в одно и то же время как отрицательна, так и положительна.

Это общее заключение возвращает нас к исходным положениям этой главы. Правильно поставленное изучение военной истории для подготовки к войне и обучения армии в мирное время все более и более начинает сознаваться, как очередная, актуальнейшая задача. В подтверждение моих слов я хотел бы здесь сослаться на предисловие

тов. Белицкого, предпосланное им книге Люка „Эволюция тактических идей во Франции и Германии во время войны 1914—1917 г.“

„Труд Люка — пишет тов. Белицкий — указывает на все недостатки консерватизма, привычек, внушенных бойцам и командному составу в мирное время. Он указывает на то море крови, которое было пролито во время Мировой войны, прежде чем борющиеся армии приспособились к новым условиям, отличным от тех, к которым их готовили в мирное время. **Люка, разбирая этот вопрос, ставит перед нами проблему громадного значения: обучать ли войска жестким уставным формам, или все их воспитание построить на развитии гибкости мышления и на развитии способности приспособляться к возможным и неизбежным факторам новой войны, будущей войны** (курсив мой). Мировая война, особенно в ее позиционный период, была исключительно благоприятна для всяких точных расчетов, для максимального использования техники взамен живой силы. Однако эта же война доказывает, что все точные расчеты весьма недолговечны, что для инициативы остается огромное поле деятельности и что, в конце концов, проблема замены человека машиной вовсе не была так близка к осуществлению, как это многим кажется. **Тактическая гибкость мышления возводится Люка в основной принцип подготовки армии, и это, по нашему мнению, является совершенно справедливым“.** (курсив мой).

Остается лишь пожелать, чтобы этот вывод не остался общим местом из предисловия и превратился в руководящее начало обучения армии в мирное время. Против самого положения возражать не приходится: „тактическая гибкость мышления“, воспитанная на первоисточнике военных знаний — военной истории — это и есть диалектическое осознание военно-исторического опыта, чуждое вульгарного историзма и не менее одностороннего догматизма.

КОНКРЕТНЫЙ ХАРАКТЕР ВОЕННОЙ МЫСЛИ.

Военная мысль по самой природе своей конкретна.

В этом ее основное отличие от мысли чисто теоретической, знакомой нам по различным научным дисциплинам. Мысли как вождя, так и рядового бойца совершенно, кажется, не умещаются в привычные для нас схемы разсуждений, в них они никоим образом не выражаются и ими не определяются.

В самом деле теоретическая мысль стремится установить, главным образом, общие положения, закономерности, имеющие тот или иной отвлеченный характер; наука, рассматриваемая формально, стремится всегда вылиться в ту или другую систему понятий. Но мысль военачальника, его подчиненных вплоть до рядового бойца (здесь разница только в степени), вовсе не занимается какими-либо отвлеченностями, она соображает, как в данных условиях, в данный момент, в данной местности, всего лучше поступить, как действовать с наибольшим успехом для себя, с наибольшим ущербом для врага. Поэтому можно сказать, что не всякий, например, профессор Военной Академии, пусть даже весьма глубокий знаток той или другой военной дисциплины, будет в то же время и хорошим полководцем и, обратное, совершенно не требуется отличившегося на полях сражений приглашать на кафедру, если он не достаточно подготовлен к ней теоретически. Это совершенно различные его особенности и совершенно различные „знания“.

Теоретическая мысль стремится обобщить те или другие фактические отношения, построить так или иначе научную индукцию; военный деятель, напротив, стремится конкретизировать все общие значения, стремится сознать и использовать последнюю частность, неповторяемость и единственность данной ситуации, данного соотношения сил.

Но не значит ли это, что военная мысль вообще ставит себе заведомо невозможные задачи. Разве задача всякой мысли вообще не состоит в том, чтобы упростить многообразие явлений, находимых в опыте? Кажется, что сама тенденция научной мысли диаметрально противоположна задачам мысли военной. Поэтому не мудрено, что многие практики военного дела третировали пренебрежительно всякую теорию войны; военное дело не есть „умовое“ а „волевое“, решает в конце концов „штык-молодец“.

Возникала борьба против так называемого „интеллектуализма“, против схоластики в области военного дела, против шаблона и догматизма. В то же время на голом отрицании, на чистом нигилизме остановиться нельзя было; пробуждалась потребность найти приемы и способы мыслить „по военному“ уже в мирное время так, как должно мыслить на самой войне, в пылу и огне боя. Проделанная здесь работа весьма обширна и весьма любопытна, это проблемы так называемого „прикладного метода“.

С особой отчетливостью основные моменты прикладного метода выступают у Верди-дю-Вернуа.

Начинает Верди с утверждения необходимости иметь теорию. „Мы нуждаемся, пишет он, не только в сильном, но и в разумном руководительстве, и, само собой понятно, что практическое развитие принесет тем обильнейшие плоды, чем они успешнее будут итти рука об руку с теоретическим образованием. Но все дело в том, как его получить и как осуществить эту связь теории с практикой. Во всяком случае существующие учебники тактики не удовлетворяют. Они способны ученика „бросить на ложный путь“, совершенно не ведут к делу без опытного руководства. „Образование офицера достигается более основательно и практически иными путями, чем те, по которым оно велось до сих пор“. Дело в том, что задачи, которые приходится разрешать, так разнообразны, что не могут быть заключены в одни рамки. Обычные же трактаты по теории военного дела как раз и грешат этим недостатком: они стремятся на все дать „определенные правила“. В этом отношении они несомненно заходят слишком далеко; все зависит от условий, которые бесконечно различны.

Совершенно нельзя разделять вопроса, каким образом происходит бой, от вопроса, при каких условиях он про-

исходит. Оба вопроса взаимно обусловливают друг друга. Тот, кому будут преподавать только, как ведется бой, будет лишен в своем образовании того элемента, без которого ни один начальник, начиная с поручика и кончая главнокомандующим, не способен действовать самостоятельно".

„Для управления боем, для ведения войск в обширных размерах нельзя установить никаких правил: они сделаются тогда пустой фразой, так как нельзя точно знать обстановку или по произволу повелевать ею.

Если правила должны оставаться годными для всех случаев на войне, то они обращаются в обыкновенные аксиомы, вроде математических, как две величины, равные порознь третьей, равны между собой. Если же они должны иметь более обширное значение, чем аксиомы, то каждое новое обстоятельство служит основанием для исключения.

Правило предписывает, например, занять сильную позицию, обстоятельства же сложились так, что мы должны пройти мимо; следовало бы нам принять бой, потому что мы сильнее противника, а между тем мы отступаем, потому что, может быть, окажем более пользы в другом месте и т. д.

Решителем дел всегда бывает конкретный случай; одно и то же правило пригодно в одном и не применимо в другом случае. Точная наука основывает новую теорию на предидущей доказанной и таким образом воздвигает целое научное здание; практика же, и в особенности война, имеет дело с изменяющимися и неподдающимися расчету величинами, она может только рассмотреть частный случай, да и то не вполне и уже **не может из него вывести другой** (курсив мой). А между тем мы часто встречаем в учебниках стратегии и прикладной тактики подобные предложения: „сосредоточивать свои силы против слабых пунктов неприятеля", или „когда неприятель делает то-то, прими такие-то меры".

Нельзя более резко подчеркнуть невозможность какой-либо теории и вывода в военном деле. „На войне дважды два не всегда четыре"...

Здесь почва колеблющаяся, и не остается ничего другого, как рассчитывать на собственные силы. Что же значит, какой смысл имеет этот расчет на собственные силы, всего яснее видно из одного примера, который приводит сам Верди-дю-Вернуа.

„Мне часто припоминается дело при Находе. Здесь я первый раз участвовал в бою. Наверху, на Вендельском плато, бой долгое время имел сомнительный для нас характер, роты авангарда и одна батарея уже начали отступать, в то время как колонны главных сил внизу едва втягивались в узкую горную долину. Положение становилось критическим: если бы австрийцам удалось в этот момент прочно утвердиться на высотах, дебуширование корпуса, вероятно, сделалось бы невозможным.

„Улучив свободную минуту, я мысленно пробежал все правила, которые у меня еще остались в голове из пройденных тактических учебников и которые касались вопроса дебуширования из дефиле. Ни одно из них не отвечало данному случаю. Тогда, отбросив их прочь, я спросил себя: в чем же здесь сущность дела. Ответ сразу [1] нашелся: авангард должен употребить все усилия, чтобы удержаться на своей позиции на высотах, а наступающие снизу колонны главных сил должны постараться как можно скорее подняться наверх именно там, где бой подался назад.

„С этого числа,—прибавляет Верди,—началось мое недоверие к тактическим правилам".

Исходя из этих соображений, Верди предлагает новый метод построения учения о ведении войск, именно „постоянно упражняться в разборе частных случаев, всевозможных положений, на войне встречающихся, по ним изучать свойства войны и притом посредством многочисленных положительных решений и распоряжений, которые учащийся должен сам проделать, развивать качества, необходимые военачальнику".

Несомненная заслуга Верди-дю-Вернуа состоит в том, что он очень ясно и четко ставит проблему; с одной стороны, нужно обладать знанием и образованием, с другой стороны, частный случай на войне решительно доминирует над всяким общим выводом, так что в военном деле дважды два не всегда четыре.

Но едва ли можно признать, что сам Верди-дю-Вернуа нашел правильное решение проблемы. Скорее приходится

[1] В дальнейшем мы увидим, как маршал Фош исправляет в данном месте Верди, на место „сразу", т.-е. интуиции здравого рассудка, он вводит „аналитический метод".

сказать обратное — прикладной метод в его истолковании способен более вредить, чем развивать военный взгляд. Прикладной метод превращается в простое „натаскивание“, на место схем заученных становятся схемы проделанные, освобождающая и обобщающая мысль изгоняется, раз вообще нельзя сделать никакого вывода, в основу кладется прежде всего „рутина“, как пишет сам Верди, „навык“, как передает русский переводчик. Но „рутина“ и есть именно то, с чем приходится бороться военному деятелю. Эта опасность тем более близка, что Верди считает нужным класть в основу разбора своих „частных случаев“ примеры из действительного военного опыта, правда, дополненные и видоизмененные воображением. Хотя частных случаев в любой войне очень много, но все они в то же время весьма сходствуют друг с другом, они, так сказать, все одного и того же „стиля“; изучающий их легко смешает то, что можно назвать „принципом“ с тем или другим приемом; вместо интеллигентного военного работника, что особенно требуется в современной войне, он становится военным ремесленником или даже „великолепным боевым животным“, совершенно лишенным гибкой и пластической мысли. Рутина и узкий эмпиризм грозят его окончательно поглотить, война же требует все новых и новых форм и постоянного творчества и прогресса, а это в свою очередь требует понимания новых задач и способности находить нужные решения.

Метод, предложенный Верди-дю-Вернуа, имел очень большой успех, он оказал влияние не только в Германии, где Верди причислен к лику учителей и воспитателей немецкой армии, но также и во Франции и России; прикладной метод был международно принят, он стал очень популярным. Это можно объяснить только реакцией против схоластики и отвлеченного рационализма в военном деле, потому что сам по себе этот метод имеет, как мы видели, весьма узкое применение, он есть в лучшем случае лишь „метод практических занятий“, как говорил об этом сам Верди-дю-Вернуа.

Я не могу здесь следить за видоизменениями, которым прикладной метод подвергся у преемников и последователей Верди, к тому же они весьма не принципиального рода (за исключением Фоша), но все же любопытно его дальнейшая судьба. Острота вопроса мало-по-малу сглаживается, на место резкого противоположения становится различие количественное, разница лишь в том, чему приписывается большее значение, общему ли выводу или частному исключению. В этом смысле очень любопытна одна полемика, которая имела место между двумя наиболее влиятельными теоретиками германской военной мысли, Фалькенгаузеном и Бернгарди.

Фалькенгаузен является решительным сторонником Верди-дю-Вернуа. Он вполне присоединяется к мнению маршала Морица Саксонского, что все науки имеют принципы и правила, но война таковых не имеет. [1] Он хвалит Клаузевица, который порвал решительно с бесплодной и педантической ученостью, с мнением, что войну можно вести согласно с установленными правилами, по геометрическим линиям и углам. На поле сражения зачастую большую роль играет самая маленькая особенность местности, чем вся премудрость, скопленная в толстых книгах. Но Клаузевица все же приходится упрекать в том, что он слишком философичен, что он слишком находится под влиянием Гегеля. Клаузевиц все еще слишком стремится обобщать, поэтому во многих местах у него отсутствует практический вывод.

Истинным продолжателем дела Клаузевица является сам Верди, создатель прикладного метода.

„Кто имел счастье слышать гениального учителя,—пишет Фалькенгаузен,—тот знает, как много его метод преподавания давал ценного, полезного, как возбуждающе действовал он. Верди, излагая поход или битву и анализируя их, вводил слушателя в ход мыслей действующих лиц, устанавливал, что они могли знать о противнике, принимая во внимание все затруднения, неизвестности и неясности, которыми они были окружены; отсюда он развивал требуемое решение. Наш учитель стоял вне всякой теории, вне какой-либо системы, он выяснял сущность военного знания на примере данного случая, его значение и поучительность для практики“.

Фалькенгаузен с ним в этом вполне соглашается. Он считает также совершенно необходимым итти от данного вполне определенного „частного случая“, а так как в мирное

[1] Kriegführung und Wissenschaft, стр. 5.

время такие „частные случаи“ можно найти лишь в опыте прошлого, то Фалькенгаузен считает, что „история есть и будет наиболее верным и богатым источником для науки о войне“.

Крайне любопытно, какие видоизменения Фалькенгаузен вводит в метод Верди, с которым на первый взгляд совершенно соглашается. Они не маловажны, Фалькенгаузен должен был притти к ним по самому существу дела.

В самом деле, военная история прежде всего направлена на прошлое, изучение этого прошлого может во многом вскрыть приемы, применяемые когда-то, но не это ручается за то, что эти приемы сохранят свою значимость и для будущего.

Не должны ли мы, напротив, думать, что военное дело в высшей степени изменчиво, что приемы редко остаются теми же самыми. В настоящее время мы видим, как военное дело революционизируется вторгающейся в него техникой, как технические открытия в корне изменяют самый облик войны. Не грозит ли опасность, что, питаясь исключительно образами прошлого, мы станем и в будущем воспроизводить его вольными и невольными шаблонами. Сам Фалькенгаузен вполне сознает эту проблему. Будущая война, которую он имеет в виду, очевидно, будет протекать вне форм, которые нам известны по войнам 66-го и 70-го года. Эту войну он и хочет предугадать своим творческим воображением; чему же может его научить опыт прошлого?

Фалькенгаузен очень своеобразно выходит из затруднения. Уже Верди в своих записках опирался не только на историю, но и на создаваемые воображением военные положения, которые и предлагал для разбора своим слушателям. Верди, правда, тесно примыкал к военной истории, но вполне ее не воспроизводит и не повторяет, он создает новые ситуации.

„Частные случаи“ у Верди не вполне действительные, а скорее измышленные. Фалькенгаузену оставалось лишь продолжить то, что у Верди имеется лишь в намеке.

Так он именно и поступает в своих больших сочинениях „Большая современная война“, „Фланговые движения и массовые армии“. Они написаны методом аналогии, весьма широко использованной. Конкретный исторический образ является лишь отправной точкой или вернее трамплином для

весьма далеко идущих конструкций автора, внимание которого всецело обращено не на прошлое, а на будущее.

Все же Фалькенгаузен думает, что стоит всецело на почве „индукции“, что его „анализы“ можно сравнить с аналитической работой натуралиста; правда, Фалькенгаузен прибавляет, что в той же мере он работает, как поэт, ибо „большой и серьезный поэт служит науке“.

Таково необходимое, но несколько смелое, признание.

В соответствии с этим „индукции“ у Фалькенгаузена все больше и больше заменяются „дедукциями“, исторический пример все больше и больше становится лишь иллюстрацией к его общей идее и предположениям, все менее и менее он фактичен, все смелее ход его мыслей, не опирающихся ни на какой действительный опыт.

При таком фактическом положении дела весьма порой странной представляется полемика, которую ведет Фалькенгаузен против Бернгарди.

„Генерал Бернгарди,—пишет Фалькенгаузен,—хотя и привлекает весьма много примеров из военной истории, все же стремится, главным образом, теоретическим путем установить принципы и правила, которыми должна определяться наша практика; он хочет дать всеобъемлющую теорию войны. Я же хочу на примерах развить и уяснить себе предполагаемый ход военных действий. Поэтому я обращаюсь против методизма и систематики, в особенности, если мы думаем, что этими средствами мы можем стать выше требований отдельного конкретного случая“.

Фалькенгаузен думает, что отдельный частный случай должен стоять выше всяких обобщений, но как раз его собственные писания и опровергают это. Они полны теории. Разница между ним и Бернгарди лишь в степени.

Но самое главное, конечно, то, что Фалькенгаузен не прав не только теоретически, но и практически. В самом деле, Бернгарди в своей „Современной войне“, худо ли хорошо ли, все же стремился прежде всего к известной нормализации. Данная часть в данном месте может и способна пройти большое расстояние, но рассчитывая марши больших воинских масс, мы естественно откидываем эти частности и выдвигаем лишь общее; точно так же и питание войск пищевыми продуктами и военными припасами сло-

жится различно при различных обстоятельствах, но и тут мы должны в своих расчетах исходить из известного „нормального“ порядка, придерживаться известной общей схемы. Эти схемы и нормы одни могут нас выручить при массовом расчете. Нормализация и стандартизация необходимы не только в современной промышленности с ее массовым производством, но еще более в современной войне. Бернгарди, который стремится построить все на точном, по возможности, расчете, в общем ближе к духу современной технической войны, чем Фалькенгаузен, и его упреки последнему, что он строит на песке, вполне справедливы.

Таково положение дела. Теоретики „прикладного метода“ сдают одни позиции за другой, и в то же время выдвинутая ими проблема заслуживает глубокого внимания; я бы сказал, она имеет значение не только чисто военное, но и общекультурное. Военная мысль есть мысль конкретная, сказал я в самом начале этой главы, но все науки, кажется, вращаются и имеют дело с отвлеченностями, с общими отношениями; они, правда, опираются на факты, но в то же время удаляются от них в своих обобщениях и тем самым „завиваются в пустоту“. Этим обусловлена современная реакция против интеллектуализма и рационализма, успех прагматизма и интуитивизма. Самые смутные и сумбурные учения имеют успех, раз они направляются против значения мысли и рассуждения. Но военные деятели, решительно отвергавшие эту мистику и настаивавшие на требованиях конкретности, все же утверждали, что на войне нужно „много думать“; этим они, с одной стороны, отрицали радикально позиции идеологов, против которых ополчался еще Наполеон, а с другой стороны, утверждали совершенно новый образ мысли, выдвигали совершенно иные норму и канон. Во многом они наметили требования решения, хотя и не были в состоянии его формулировать. Ближе всего к положительному решению подошел Клаузевиц. Во всяком случае обоснование теории войны у Клаузевица, во второй книге его труда, крайне любопытно.

К своим предшественникам Клаузевиц относится с суровой критикой. Теории существующие, говорит он, гонясь за связностью и полнотой системы, преисполнены обыденными, общеизвестными изречениями и пустословием всякого рода.

Эти плохие попытки философского сооружения военного искусства довели до того, что большинство деятелей сказало себе: „такая теория невозможна, она говорит о предметах, не подлежащих прочному закону“.

Клаузевиц не только не склонен с места рассеивать подобный скептицизм, напротив, он его углубляет, обнажая и очерчивая тем самым проблему, подлежащую решению. Под названием военного искусства, рассуждает Клаузевиц, подразумевали прежде только мощность знаний и умений, касающихся дел материальных. Сюда относили механизм и приготовление оружия, сооружение крепостей и укреплений, организацию войск и механизм их передвижения. Все это касалось лишь боевых средств и сил, исходило из области материи. Это было одностороннее ремесло. Тут не было речи об употреблении в дело боевых средств в минуту опасности. Знание дел материальных не вскрывает еще сущности стратегии. Стратегия по своим задачам шире изучения лишь материальных предметов; она служит лишь для подготовки к войне, сама же война проникнута силами и проявлениями духовного рода.

Но именно наличность величин нравственных и осложняет дело; трудно решить точно, имея столь расплывчатый материал. Душевные величины оцениваются только внутренним глазом, но он иной в каждом отдельном человеке, да и в одном и том же различен в разное время. Далее, военачальнику приходится иметь дело постоянно с неопределенностью всякого рода. Действовать приходится точно в тумане и полумраке, при лунном освещении, придающем очертаниям вид преувеличенный и неестественный.

То, что скрывает темень, не допуская полного уразумения, приходится улавливать, угадывать талантом или же предоставить счастью, приходится положиться на милость случая. Отсюда нужно сделать, кажется, один только скептический вывод: положительное учение невозможно. По самой природе войны невозможно возвести для нее научное здание, опору деятелю во всевозможных случаях, когда он должен опираться на собственный свой талант.

Одним словом, с какой стороны ни подступаться к делу, выходит, что талант и гений действуют вне закона, теория идет в разрез с действительностью. Таков скептический

вывод, имеющий кажущуюся убедительность; стоит продумать до конца этот вывод, чтобы его опровергнуть. Скептицизм, отрицание всяких теоретических положений военного искусства, делает невозможным какой бы то ни было критический разбор военных событий.

Разбор военных событий порождает требование теории, — таково фундаментальное положение, могущее быть противопоставленным всякому решительному скептицизму.

Теоретический скептицизм претит человеческому уму, ввергает его в хаос различных мнений и воззрений, вертящихся вне всякого центра и без видимого закона.

Для обоснования доктрины Клаузевица должна быть признана основной та глава его труда о войне, которая озаглавлена „Критика".

Клаузевиц отличает в критической работе следующие моменты: во-первых, историческое исследование с целью восстановить сомнительные факты; оно с теорией войны ничего общего не имеет; во-вторых, критическое исследование имеет задачей вывести последствия восстановленных причин и фактов; это и есть, подчеркивает Клаузевиц, настоящее критическое исследование; в третьих, проверка примененных средств. Эта сторона критики заключает в себе одобрение и порицание.

Эти простые соображения нуждаются в некотором раскрытии. Мысль Клаузевица гораздо глубже, чем то можно подумать с первого взгляда. Действительно, всякий анализ и всякое обсуждение уже предполагают так или иначе теорию. Критика, говорит Клаузевиц, опирается на аналитическое исследование теории. Без известных элементов теории невозможно никакое обсуждение, всякий план должен будет быть признан равноценным другому, одинаково разумным или лучше — неразумным. Отрицая всякую теорию, мы тем самым придем к отрицанию возможности обсуждения и даже описания военных действий: ведь всякое описание перечисляя события, касается причин, ближайше их связующих. Без теории, без понятия, без оценки нельзя дать даже описания. Констатируя факт, историк его тем самым уже оценивает, он приписывает ему известную значимость, влиятельность; историк не может включить в свое описание всех решительно фактов, он делает по необходимости выбор; уже при беспристрастном, кажется, описании он, таким образом,

вносит не только понятие, но и оценку. Понятие и анализ дают возможность „рассмотрения", как говорит Клаузевиц.

Этим он глубоко внедряется в сущность логической проблемы обоснования стратегии. Обычно мы думаем, что факты сами по себе нейтральны, они лишь дают возможность построения теории. Теория строится из фактов, является их обобщением и резюме. Клаузевиц очень тонко критикует подобное применение индукции в истории: он утверждает, что во всех тех случаях, когда дело идет об установлении новой истины или же об укреплении еще не вполне признанной, основательный разбор одного события гораздо поучительнее, нежели поверхностная ссылка на целый их десяток. Положим, мы ссылкой на опыт желаем доказать, что конницу в боевом порядке лучше поставить за пехотой, а не рядом с ней, или же, что без подавляющего превосходства сил опасны дальние охваты, как стратегические, так и тактические исполняемые раздельными колоннами. Для того, чтобы доказать первое из указанных положений, недостаточно будет привести примеры нескольких потерянных сражений, в коих конница была на флангах, или наоборот, несколько выигранных, когда она была расположена позади пехоты. Точно так же по отношению ко второму нашему положению нельзя ограничиться простой ссылкой на сражения при Риволи и Ваграме, на общее наступление австрийцев на итальянском театре войны в 1796 году или же на наступление в том же году французов на германском. Напротив того, как в том, так и в другом случаях необходимо точно и подробно проследить все перипетии события и обстоятельства их сопровождавшие для того, чтобы возможно было указать, в каком именно виде указанное расположение — конница рядом с пехотой — или же форма наступления — охват раздельными колоннами — повлияли именно на дурной исход дела. Тогда и окажется, в какой именно мере должны быть порицаемы указанные виды расположения или наступления, потому что огульное порицание не удовлетворяет требованиям разума.

Факты и теории проникают друг в друга. Теория, поднимающаяся над фактом, всегда может оказаться недостоверной, несогласной с действительностью; с другой стороны, факты никогда не могут быть чистыми фактами, факты уже

предполагают в известной мере анализ и понятие. Без анализа и понятий факты нам ничего не говорят, они совершенно слепы и хаотичны.

Фундаментальное значение „рассмотрения“ вытекает из вышеизложенного.

Анализ показал, что в известном смысле теория стратегии невозможна, с другой стороны, она необходима; отрицая военную теорию, мы должны будем отрицать и военные факты. Из этого противоречия только один вывод: теория отрицается не безусловно, а только в известном смысле. Теория не может быть учением, она должна быть рассмотрением.

Трактовали стратегию, как отвлеченную науку; для дела ведения войны хотели установить правила, основания и даже системы. Стремились к цели положительной, не уяснив себе те нескончаемые трудности, которые представляет дело войны. Война расплывается во все почти стороны, не находя себе определенных рубежей. Между тем каждая определенная система, каждое научное строение умещается в тесных границах синтеза. Таким путем возникает непримиримое противоречие между теорией и живой практикой. Выставляли определенные правила, которые казались несомненными и которые все же оказывались бессильными против мощи действительной жизни. Таких правил и формул существует много; например, говорили, нужно собрать превосходные силы на определенном пункте и в определенное время, или выдвигали принцип действия по внутренним операционным линиям. Все эти поползновения одинаково негодны. Они полезны только в своей аналитической части, синтез же их в виде правил и руководств совершенно непригоден для практики. Военная наука, построяемая, как система отвлеченных, общих правил, всегда разойдется с опытом. Общие и отвлеченные положения в стратегии непригодны.

Напротив того, теория понятия, как рассмотрение, не стремится первоначально к установлению каких бы то ни было правил, она имеет дело с материалом конкретным и историческим. Теория Клаузевица есть теория не догматическая, а историческая. Теория, говорит Клаузевиц, обращается к опыту и рассматривает комбинации, действительно приключившиеся и сохранившиеся в военной истории

Понятие „рассмотрения“, таким образом, для Клаузевица обозначает единство факта и понятия: понятие, усматриваемое в историческом факте, — факт, освещенный понятием. Все положительные данные теоретических исследований, всякие принципы, правила и методы лишены всеобщности и абсолютной истины, в особенности, если они преподносятся в виде положительного учения. Критическое рассмотрение видит в них не общеобязательные нормы, а лишь опору для своих суждений, т.-е. без известных понятий и общих соображений я не могу приступить к рассмотрению факта, ибо, как мы видели, самый факт есть уже нечто теоретическое. Но эти опорные пункты не должны застывать мертвой догмой и системой, нельзя и мечтать о такой теории, которая снабжала бы подходящими отвлеченными истинами так, чтобы критике оставалось только подводить данные случаи под законы теории. Только смеха достойный педантизм может требовать, чтобы критика всякий раз останавливалась у порога священной теории. Если критика унизит себя до бездушного применения теории, она вовсе не удовлетворяет своему назначению.

Теория и рассмотрение, таким образом, тесно связаны; объединяет их самый дух анализа. Анализ понят Клаузевицем; как живой и конкретный процесс мысли; отвергнут мертвый и неподвижный догмат, как результат анализа. Рассмотрение есть мысль осуществляющаяся, а не мысль, только осуществленная. В этом смысле стратегия есть наставление и руководство к производству самостоятельных актов мышления, а не собрание готовых схем. Теория не только не противна действительности, она непосредственно переходит в действие или, как говорит Клаузевиц, знание переходит в объективное умение. Знание и умение, конечно, нужно различать, но, с другой стороны, необходимо иметь в виду, что ни одна наука не может вполне обойтись без искусства; простой счет или даже применение алгебры требуют известного искусства. Разница между знанием и умением резко видна в продуктах человеческих, но трудно разграничить эту разницу в самом человеке. Всякое мышление есть искусство. Там, где подводится логический итог, где оканчиваются сложения, как результат распознания, там начинается искусство. Мало того, распознавание умом будет

опять выводом, а следовательно, искусством; в конце-концов искусством будет и самое распознавание путем чувств. Одним словом, нигде немыслимо человеческое существо с одним только распознаванием, без выводов, или же наоборот. Это единство знания и умения, этот прагматизм мысли утвержден Клаузевицем, как принцип его теории стратегии, которая вся хочет быть насквозь прагматичной.

Теория должна воспитать дух будущего начальника, или, вернее, руководить им при воспитании, но не дело теории провожать ученика на поле битвы. Она уподобляется разумному воспитателю, который направляет и облегчает умственное развитие юноши, не норовя вести его всю жизнь на помочах. Таким образом, правила и основы должны служить мыслящему уму подспорьем при его внутренней самостоятельной работе, а отнюдь не вехами, точно указующими ему дорогу. Так совершается применение теории и практики. Теория никогда не станет противоречить действительности. Разумное применение ее доведет до совершенного прекращения бессмысленного разногласия между теорией и практикой. Такую рознь вызывала теория неразумная, отказывавшаяся от здравого человеческого смысла, теория невежества и убожества духа; рознью этой зачастую оправдывали врожденную в себе косность. Рассмотрение, опосредствующее возможность стратегии, всегда актуально и конкретно, а не догматично и не отвлеченно; рассмотрение есть живой процесс мысли, и через то он насквозь диалектичен; к этому нас принуждает самый характер мысли, лежащий в основе стратегии.

Рассмотрение есть конкретный анализ, аналитическое исследование предмета, анализ, сознающий свои границы и не стремящийся перейти в скороспелый синтез, анализ, обнаруживающий иррациональное, вскрывающий противоречие.

Можно сказать, что Клаузевиц является умом по преимуществу аналитическим, в анализе он решителен, глубок и последователен. Крайне любопытно, как он его применяет, каким образом аналитическое исследование переходит в диалектическое. Анализ есть утверждение одностороннее, частное, жизненные явления есть нечто целое, синтетическое. Утверждение, отринутое от живой связи с целым, истинное в своей

отвлеченности, становится ложным, будучи изъято из связи с другими факторами и причинами. Только эта живая связь в подлинной мере есть истина, отвлечение всегда вскрывает и другое противоположное начало, его ограничивающее и обусловливающее. Клаузевиц поэтому в одно и то же время сполна доверяет анализу и последовательно им пользуется, и в то же время хорошо сознает границы аналитического метода, рассматривает анализ, как средство, обнаруживающее противоречие и противоположное. Анализ в силу необходимости у него переходит в диалектику.

На войне, говорит Клаузевиц, все, принадлежащее единому целому, находится в непременной связи между собой, а потому и каждая отдельная причина, даже самая мелкая, непременно сказывается на окончательном исходе, видоизменяя его в самой малости. Можно итти за последствиями данной причины так долго, как это представляет известный интерес. Точно также можно, не ограничиваясь проверкой применения известного средства для достижения данной цели, проверить и самую цель, как средство для достижения высшего разряда. Но, прибавляет Клаузевиц, понятно, что, подымаясь все выше и выше, при каждой новой обстановке мы очутимся на другой точке зрения. С высшей точки зрения не раз придется признавать неодобрительным то самое средство, которое прежде казалось вполне уместным. Анализ стремится установить последние элементы, но на самом деле последнее никогда не дано нам, мы впадаем в самопротиворечие, предмет, ясный с первого взгляда, затрудняется; значит ли это, что мы должны отказаться от анализа? Напротив, эти противоречия суть лишь средства освободиться от противоречий, дойти до подлинного синтеза, отрицательно-диалектический момент есть путь к положительному диалектическому моменту, к подлинному единству; от частей мы переходим к целому, и чем более мы вскрыли части, тем более полно и тем правильнее мы познали целое.

Если в кратких словах резюмировать эту теорию обоснования военного знания, проводимую Клаузевицем, то приходится подчеркнуть прежде всего оригинальное понимание знания у Клаузевица. Клаузевиц не хочет, чтобы знание оставалось только равнодушным содержанием мысли, но превратилось бы в „кусок жизни“, как он выражается (ein

Stück Lebens). Действительно, подобным знанием, может быть, обладали греческие мудрецы, но отнюдь не обладают современные интеллигенты, хотя бы они и прошли с отличием высший курс наук. Мы зачастую видим, что присяжный поверенный изучает законы не для того, чтобы исполнять их лучшим образом, а скорее, чтобы в делах обойти закон или повернуть его в пользу своего клиента, который обещал ему щедрый гонорар. Если военные уставы будут изучаться военными только в видах оправдания пассивности или нерешительности, то едва ли подобное знание к чему-либо пригодится.

Нужно признать, что знание, культивируемое в различных научных институтах современности (университетах, академиях и проч.), страдает этим недостатком нейтральности, и отсюда вполне понятна современная критика рационализма. В военной литературе эта критика практиковалась гораздо раньше, глубже и значительнее.

Для того, чтобы осознать этот в высшей степени важный пункт, всего лучше сопоставить рассуждения Клаузевица с известными тезисами о Людвиге Фейербахе Карла Маркса. Мысль самого Клаузевица слишком затемнена для нас его способом изложения.

Отличительную черту своего материализма от предшествующего Маркс формулирует следующим образом: „Главный недостаток материализма — до Фейербаховского включительно — состоял до сих пор в том, что он рассматривал действительность, воспринимаемый внешними чувствами мир, в форме объекта или в форме созерцаний, а не в форме конкретной человеческой деятельности, не в форме практики, не субъективно“.

В этом и состоит относительная историческая правота идеализма и идеалистической философии, которая отказывалась рассматривать мир, как только объект познания, которая в самом познании открыла деятельную сторону.

„Деятельную сторону в противоположность материализму развивал до сих пор идеализм, но развивал отвлеченно, так как идеализм естественно не признает конкретной деятельности, как таковой“.

Отъединение теории от практики заводит в тупик самое теоретическую мысль, имеет следствием ее крушение. „Вопрос

о том, способно ли человеческое мышление познать предмет в том виде, как он существует в действительности, вовсе не теоретический, а практический вопрос. Практикой должен доказать человек истину своего мышления, т.-е. доказать, что оно имеет действительную силу и не останавливается по сю сторону явления. Спор же о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос“.

Знание у Маркса теряет форму созерцательную, оно становится „пониманием практики“. Этим самым оно теряет и свою отвлеченность и становится конкретным.

МЫСЛЬ И ДЕЙСТВИЕ.

1.

Когда астроном наблюдает восхождение и захождение звезд, то более всего он старается быть объективным, ничего не привнести в свои наблюдения от себя, чтобы полнее описать изучаемое явление.

Ему это удается только с большим трудом, человеку почти невозможно отрешиться от своей субъективности, наши наблюдения всегда неточны, поэтому, где только возможно, мы стремимся заменить их инструментами, более беспристрастными свидетелями, чем мы, менее подверженными тем колебаниям, которым покорствует человеческая природа. Ведь мы зачастую опережаем время, нам кажется, что событие уже наступило, когда его еще нет в действительности; мы запаздываем в нашем восприятии, не видим, что творится перед нашими глазами, не узнаем факта, мы вообще часто меняем порядок времени, случившееся позднее видим раньше; так, например, врачу при операции порой кажется, что кровь брызнула раньше, чем нож вошел в тело пациента.

Все эти естественные иллюзии и нормальные, так сказать, галлюцинации хорошо известны; с ними привыкли считаться; у нас есть даже порой средство точно определить наши погрешности, тем или иным путем внести нужную поправку в наши наблюдения и в наши расчеты.

Во всяком случае признается, что при объективном изучении мы должны быть по возможности спокойными, ничем не волнуемыми, быть по возможности бесстрастными; ничто не должно нас развлекать, никто не должен нам мешать, ибо минута рассеяния — и воображение врывается в наши восприятия и странно деформирует их.

Иногда трудно, почти невозможно добиться этих условий. Конечно, наблюдения над мертвой природой не слишком пробуждают наши страсти, изучение ее требует одних только интеллектуальных усилий, но дело резко меняется, если мы обратимся от фактов и явлений физических к явлениям жизни политической и социальной. Тут ученому трудно, иные скажут — невозможно, отрешиться сполна от тех или иных интересов, симпатий, склонностей, усвоенных бессознательно, ставших инстинктивными. Тут слишком часто бывает, что мы как бы не видим того, что нам нежелательно видеть, и, наоборот, подчеркиваем, преувеличиваем то, что диктует нам наша любовь или ненависть, наше пристрастие. Не мудрено, что возникают беспрерывные споры, стороны обвиняют друг друга в недобросовестности, в подтасовке фактов, длится спор о самих фактах. Этим спорам, кажется, нет конца, потому что нет почвы для объективного беспристрастного суждения.

Таковы обычные, слишком часто повторяемые принципы, устанавливающие возможность правильного образования понятий и суждений. Вне этих условий, нельзя добиться никакой достоверности.

Если мы перенесем эти усвоенные нами взгляды на практику интеллектуальной работы военного деятеля, то мы увидим, что находимся в условиях, как бы исключающих нормальную деятельность мысли. Военное дело должно нам представиться вообще не умовым, а волевым; нам должно представиться, что все в нем зависит от решительности действия и что мысль не в силах проникнуть или хотя бы бегло осветить кровавую и страстную природу боя и войны, что это явления по преимуществу стихийные и менее всего сознательные.

Война имеет страстную аффективную природу, она исключает момент спокойствия. Поле современного сражения представляется нам настоящим адом. Можно привести ряд показаний участников атак, и везде вы увидите эти черты ярости, жестокости, необычные, во всяком случае не схожие с нормальным настроением; и всегда в этих воспоминаниях — недоумение, „как я мог это сделать“, словно перейдена была некая разделяющая черта.

Не нужно думать, что только непосредственные участники боев находятся в сфере „безумств Ареса“, что руко-

водители, порой удаленные на весьма значительное расстояние от места непосредственных боев (например, немецкая главная квартира в Кобленце во время битвы на Марне), могут спокойно обдумывать, взвешивать и расценивать приходящие к ним донесения и согласно этим сводкам давать директивы сражающимся войскам.

Конечно, бывают такие военачальники, которых совершенно не волнует участь людей, которых они посылают на поля смерти. Эти рассуждают, быть может, вполне спокойно, они, может быть, находятся в весьма благоприятных условиях, но подобные военачальники никогда не были истинными вождями. Не только массы, которые они спокойно обрекли в жертву войне, не признавали их за таковых, но и сама их мысль и деятельность не были созвучны со страстной и кровавой природой боев; они обыкновенно не подымались даже до посредственных решений, были слишком явно не на высоте положения; они или уходили, или, чаще, бывали сменяемы.

Истинный вождь не может быть свободен от тревог в минуты решительных боев на фронте; он сознает, что это он своим решением привел в движение вверенные ему части и что он несет за них величайшую ответственность. Он должен чувствовать ответственность за все эти жизни, он должен чувствовать риск за дело, с которым связал свою судьбу и за которое люди идут на смерть. Все ли он предвидел, все ли правильно рассчитал, угадал ли он замыслы противника, правильно ли учел обстановку,—может быть дела принимают совершенно новый оборот, войска, долженствующие давно прибыть на выручку, почему-то опоздали, может быть они взяли неверный маршрут, может быть неправильно была понята общая директива, хватит ли резервов, снарядов, как организована их доставка, что делает враг, не получил ли он новых подкреплений, хватит ли сил у бойцев дойти до назначенного рубежа или наступающая волна разобьется о непредвиденные преграды, — вот вопросы, которые естественно должны неотступно тревожить и волновать вождя, и это тем более, что он ничего не может видеть, а лишь угадывать и обо всем заключать.

Мы должны оценивать эти состояния, как состояния величайшего напряжения, почти подавляющего. Требуется

большая выдержка, весьма крепкие нервы, чтобы преодолеть нарастающую тревогу, чтобы владеть собой. И в эти-то состояния, столь тревожные, столь колеблемые и аффективные, нужно думать, рассчитывать, соображать, быть ясным для других и для самого себя, ясно сознавать, чего собственно хочешь, какой цели добиваешься и какими средствами к тому располагаешь.

Подобная обстановка, кажется, исключает самую возможность планомерной, интеллектуальной работы. Кажется, здесь невозможно думать, слово „мысль“ должно обозначать нечто совершенно иное, чем то, что мы с ним привыкли соединять.

В самом деле, например, психологи имеют отчасти дело с аналогичными проблемами. Их деятельность связана с самонаблюдением, и все они единогласно говорят, что наблюдать самого себя в минуты большого аффекта, например, гнева, страха и проч., невозможно. Когда мы все же постараемся это сделать, то увидим, что мы уже больше не разгневаны, уже больше не испытываем страха, аффект прошел, ибо он сполна нас раньше захватывал, теперь же мы словно раздвоились на наблюдающего и переживающего. Есть целостные, безраздельные состояния сознания, которые поглощают нас сполна, здесь не может быть самонаблюдения.

Но разве не то же самое мы испытываем во время боя, разве стихия войны не поглощает нас всецело, не требует всей нашей возможной энергии до крайнего предела?

Я подчеркиваю: военная мысль совершается в условиях весьма особенных, необычайных; во всяком случае мы тут должны оставить наши оценки и наши мнения об оптимальных условиях здравого мышления.

Ибо в этом и состоит природа военной мысли, что она именно совершает свою работу на войне, потому так трудно мыслить по военному в мирное время. Нужно признать то, с чем сразу неохотно согласишься,—есть мысль зоркая, зрячая, приметчивая, четко и ясно рассуждающая именно в минуту величайших опасностей, величайших тревог и сильнейшего напряжения, во всяком случае не менее напряженная и интенсивная, чем интенсивные страсти, испытываемые на поле битвы солдатами и военачальниками в минуту обострившихся кризисов. Многие оказываются неспособными к такого рода умственной деятельности, они теряются, они

всецело оказываются во власти всевозможных внешних воздействий на их сознание. Они не могут и сами действовать и еще менее, конечно, способны руководить действиями других людей. Есть паника на войне, слепое следование инстинкту, сбросившему все оковы его сдерживающие, и, конечно на войне есть люди, сеющие эту панику, различные „заведующие паникой", но на войне есть также и герои, способные не только к дерзкому, но и к проницательному и верному решению.

Здесь не место говорить о том, какими путями можно перевоспитать себя и преодолеть эти естественные стихийные движения в нас. Здесь я говорю лишь о самом предмете, о военной мысли и отличительных ее признаках.

Я хочу лишь поставить на вид, что есть мысль, которая пробуждается и приходит в движение в страстные минуты нашей жизни. Есть сосредоточенность во время борьбы, есть спокойствие вовсе не от отсутствия аффектов и волений, а от уравновешенности полярных сил. Эти состояния и нужно исследовать. Для их понимания нам придется отказаться от многих распространенных предрассудков и мнений.

Прежде всего нужно устранить одно мнение, столь же ложное, сколь и распространенное: это противопоставление воли интеллекту. В военной литературе—и не только в военной—слишком часто противопоставляют типы—волевой и умовой. Это деление весьма популярно в психологической и философской литературе. Интеллектуализм и волюнтаризм являются наиболее распространенными психологическими теориями. Борьба рационализма и волюнтаризма велась очень напряженно в пределах немецкой идеалистической школы, отсюда она перешла в область искусства, публицистики и даже досужих разговоров. Исчерпать эту тему решительно не представляется возможным. Я ограничусь только сферой собственно военной мысли.

Драгомиров, авторитет которого высоко стоял не только у нас, но и заграницей, говорил, что военное дело не есть умовое, а волевое. И до сих пор это мнение держится крепко, и до сих пор пишутся статьи, порой весьма талантливые, против интеллектуализма.

Действительно, все нападки этого направления против интеллектуализма крайне метки. Односторонний интеллектуализм является совершенно непригодной доктриной. Военное дело есть прежде всего практика, деятельность, имеющая целью победу, и здесь дело вовсе не в том, чтобы понимать войну. Нужно действительно иметь эту волю к победе, действительно „хотеть", а не просто рассуждать. Рассуждение и резонерство совершенно недопустимы в военном деле.

Но как бы ни были справедливы и остроумны доводы волюнтаристов, их собственная позиция не менее шатка. Весьма трудно понять, что собственно они подразумевают под словом „воля". Волю вовсе не следует смешивать с рефлексом, с действием автоматическим или инстинктивным. Едва ли человека, который находится во власти своих инстинктов, который является игрушкой своих непроизвольных рефлексов, можно назвать человеком, обладающим сильной волей. Скорее обратное: такого человека мы назвали бы совершенной тряпкой. Для волевого действия необходимы известные интеллектуальные моменты, во всяком случае ясное представление цели, а во-вторых, сознание тех средств, коими эта цель достигается; только этим путем беспредметное и бессильное желание становится властным хотением. Отрицать интеллектуализм безусловно значит вместе с тем отрицать и самую волю. Воля вовсе не есть только выражение присущей нам активности, в той же мере она есть результат долгого и сложного процесса, многочисленных опытов, их аналитического расчленения и осознания. Волевое действие не может быть ни в коем случае действием бессмысленным.

Таковы очень простые рассуждения, которые позволяют отвергнуть как односторонний интеллектуализм, так и односторонний волюнтаризм, вообще противопоставление дела умового—делу волевому. Но гораздо труднее найти положительное решение; если волю и нельзя противополагать разуму, то все же трудно указать их единство.

Прежде всего, мы должны ясно видеть, что всякое наше знание, всякий его элемент имеет активную сторону. Самый опыт наш есть прежде всего действие. Это вовсе не относится только к сознательному экспериментированию в различных научных лабораториях и в исследовательских институтах, но и всякое вообще восприятие наше, самое элементарное и обыденное, есть результат нашей активности, нашей деятель-

ности. Интеллектуальное содержание было бы совершенно пустым, если бы оно не вскрывалось, как система определенных действий. Все это настолько ныне разъяснено в современной литературе по трудовой школе, что распространяться далее на эту тему является совершенно излишним.

Но то же самое, что я сказал о простейшем восприятии, может быть относимо также и к высшим, принципиальным нашим обобщениям, и они становятся совершенно бессмысленными, если они не резюмируют известного активного опыта, если они не являются опознанием и пониманием нашей практики.

Прагматический критерий в данном случае совершенно справедлив. Лучше всего, может быть, изложен он в известных тезисах Карла Маркса в приложениях к „Фейербаху" Энгельса. Наше знание есть — понимание практики, без этой практики наше знание становится совершенно схоластическим и непонятным.

Таким образом, противопоставление бесстрастного наблюдателя и военного деятеля, который не может быть вне действия, оказывается при ближайшем рассмотрении совершенно неудовлетворительным. Не только военный опыт, но и всякий опыт вообще носит характер активности. Военный опыт не существует в действительности, если мы не воюем: мы должны воевать, чтобы иметь военный опыт; но то же самое относится и ко всякому опыту, и он есть нечто произведенное, а не просто данное нам. Легенда о бездеятельном наблюдателе должна быть отвергнута, как и всякая другая легенда. Опыт вовсе не есть нечто данное, но всегда нечто нами произведенное.

Но и обратное имеет силу. Нельзя только подчеркивать одну лишь активную сторону военного опыта, отрицая его интеллектуальную сторону. Это привело бы нас к совершенному хаосу, никак не упорядоченному. Нельзя исключить мысли и расчета в военных действиях, плана и сознательного почина. Нельзя отказываться от стремления понять этот опыт, упорядочить его без того хаотическую природу.

Это тем более, что мы здесь действительно находимся в исключительных условиях. При более пассивном характере опыта мы легко усматриваем его ритм, его однообразие и повторяемость: но в страстных действиях войны все смешивается, в пределе — переходит в свалку.

Поэтому первая задача всякого военного деятеля — добиться максимальной сознательности в своих действиях, добиться ясности там, где все смутно и неверно. Вполне естественно возникает стремление отдать себе отчет в своих действиях, действовать с намерением и расчетом, а не просто под влиянием аффекта и инстинкта.

Этим, мне кажется, можно объяснить постоянно вновь возникающее стремление обрести „принципы" стратегии и тактики; сама военная деятельность к тому принуждает, вполне естественным становится желание иметь твердую опору для действия, ибо действовать на авось значило бы подвергать и себя и других величайшей опасности и смерти. Односторонний интеллектуализм в военном деле легко подвергается критике, он обнаруживает себя как рационализм, т.-е. утверждение знания довоенного опыта. Но теперь, когда мы признали активный характер военного опыта, когда мы поняли, что этот опыт возникает только благодаря нашим действиям, рационализм, утвержденный не в своей отвлеченной форме, а как требование сознательности, не только вполне приемлем, но прямо-таки необходим. Вне работы анализа, вне работы мысли, наши действия будут совершаться всецело впустую; действуя бессознательно, мы будем наносить удары, как боец с завязанными глазами.

Утверждение принципов, столь распространенное в военной литературе, является обнаружением стремления к сознательности и ни в коей мере не может быть объяснено только пассивным интеллектуализмом, который заставляет людей отказываться от решения, от самостоятельного и бодрого почина, который заставляет порой людей действовать по приказу, лишь подчиняясь чужому воздействию.

В самом деле, едва ли мы вправе думать, что, например, Фридрих II или Наполеон были мало активными натурами, что они не были яркими представителями волевого типа; в то же время они горячо отстаивали рациональность военных знаний и опирались на внимательный анализ и входящий в детали расчет в своих действиях. И, конечно, это менее всего можно объяснить влиянием ложных теорий одностороннего рационализма, весьма распространенного в XVIII веке. Как известно, Наполеон был яростным противником „идеологов", он не любил отвлеченных идей, оста-

ющихся вне сферы практического осуществления и даже мешающих действию; но в то же время он всячески стремился осмыслить свои действия, он стремился к ясности, потому что военный опыт изобилует прежде всего смутой и хаосом, и военные действия протекают как бы в тумане.

Интеллектуализм в военном деле, таким образом, отнюдь не должен пониматься исключительно, как отвлеченный рационализм. Мы видели, что понятие и понимание являются существенными элементами образования воли к победе, без подобного интеллектуализма воля к победе не может создаться; наша активность в этом случае неминуемо выльется в ряде стихийных проявлений, вроде, например, немецкого погрома в Москве в Мировую войну, но подобные проявления общественных настроений являются показателем скорее паники, чем сознательной и твердой воли.

Наиболее показательной параллелью к вышесказанному может послужить и здесь теория борьбы политической и социальной.

И здесь приходится прежде всего ссылаться на Маркса, потому что среди господствовавшего в XIX веке романтически-либерального умонастроения он один из немногих ясно видел сущность политической и социальной борьбы и хорошо различал ее элементы.

Всего явственнее это различение элементов и их объединение проведено Марксом в учении о классовой борьбе.

Класс, по Марксу, есть прежде всего явление порядка экономического; класс пролетариата, например, образуется в стихийном процессе развития капиталистического производства. Самый класс образуется из многоразличных элементов распадающегося феодального общества, он пополняется различными деклассированными. Но класс, рассматриваемый только как экономическая категория, является только „классом в себе“, если выражаться Гегелевской терминологией, усвоенной Марксом. Только через осознание своих классовых интересов, путем выработки определенной общественно-политической программы, он становится классом в полном смысле этого слова, не только классом в себе, но и классом для себя. Он научается различать себя от других классов и противополагает их себе. Таким путем возникает классовая борьба, сознательная и планомерная, которая до этого могла выражаться лишь в стихийных формах, вроде разрушения и ломки машин, убийства инженеров и директоров фабрик. Классовая борьба, таким образом, имеет своей предпосылкой возникновение классового самосознания, или, вернее, рост классовой борьбы обусловлен ростом классового самосознания.

Против Маркса говорили очень часто, что он отрицает значение идей, что он все приписывает стихийному и слепому развитию производительных сил. Подобные утверждения свидетельствуют о весьма малом понимании Маркса. Неужели сам Маркс, создавая „Коммунистический манифест“ и „Капитал“, думал, что занимается только литературными упражнениями, не имеющими никакого реального значения? Скорее обратное, он верил, что этим самым выковывает могучее оружие—пересоздания мира. Создавая фундамент классового самосознания и намечая цели и средства для самой решительной классовой борьбы, он тем самым думал содействовать углублению этой борьбы. Знание и понимание революционной практики у Маркса не только не отвергается, но в полной мере утверждается. Современные критики Маркса упрекают его в излишнем рационализме и чрезмерной диалектике (Бернштейн, Бембаверк и Струве), но эта диалектика не является чем-то навеянным извне; у Маркса она слита теснейшим образом с самой сущностью классовой борьбы.

2.

Борьба на войне является полной аналогией борьбы политической и борьбы социальной. И спор, разбираемый нами, находит себе полную аналогию в споре в литературе политической.

В XVIII столетии были склонны приписывать чрезмерную роль и значение идеям и просвещению; тогда почти безраздельно господствовали рационализм и интеллектуализм, хотели мыслью предварить опыт и заставить действительность вполне подчиниться предписаниям, измышленным разумом.

Точно также и военные теории тогдашнего времени носили ярко выраженный интеллектуалистический характер, приписывали мысли решающее значение на войне и готовы были игнорировать активную сторону всяких военных действий.

В противоположность этой доктрине так называемая историческая школа подчеркивала значение стихийно-слагающихся фактов, подчеркивала иррациональность действительности, ополчалась против самой идеи и возможности законодательствовать; нельзя создавать законов, нельзя сознательно вмешиваться в ход и образование права.

Точно также и военная теория периода романтизма и войн за освобождение Германии от ига Наполеона настаивала на стихийных элементах войны, подчеркивала ее волевой и моральный характер в ущерб интеллектуальному.

Едва-ли современный политический деятель будет в какой-либо мере разделять эти ныне устаревшие и преодоленные точки зрения. Мы не можем быть наивными догматиками в стиле Жан Жака Руссо и еще менее можем разделять исторические воззрения Савиньи и Пухты. Понимание права совершенно неотделимо от борьбы за право. Ни один практический политик не станет отрицать волевых усилий и активности общества при образовании элементов конституции, и все отлично понимают, что революции делаются, а не выдумываются, но никто не станет исключать и расчет и смысл из этой борьбы; весьма редко кто будет принципиально воздерживаться от сознательного и планомерного вмешательства в ход социального процесса. Наличие социального законодательства во всех странах свидетельствует об этом.

Точно также и современная военная мысль, хотя и ведет старые споры об интеллектуализме и волюнтаризме, об умовом и волевом типах, на самом деле, конечно, настаивает на единстве этих элементов всякого целесообразного действия. Странно и дико отрицать в настоящее время интеллектуализм в военном деле, когда сами военные действия приобретают все более и более технический и научный характер, когда предварительный точный расчет значит гораздо более, чем окончательный порыв. Трудно взять укрепленную позицию (а какие позиции не являются ныне более или менее укрепленными?) без внимательного и тщательного изучения технических средств, необходимых для преодоления естественных и искусственных преград. Но также едва-ли кто нибудь из современных военных теоретиков может вернуться к точке зрения Бюлова, станет лишь рассчитывать шансы

победы и поражения, чтобы вообще воздержаться от военных действий. Скорее он будет обдумывать план своих действий, чтобы действовать с максимальным успехом.

В несомненную заслугу военной теоретической мысли нужно поставить, что она, вразрез с господствовавшими идеологическими течениями, в общем верно шла к своей цели; в этом смысле военные теоретики значительно превосходят писания слишком многих прославленных „философов культуры“.

В самом деле, в военной литературе мы встречаем отказ от общепринятого взгляда, что знание всякого рода есть нечто ценное само по себе, независимо от каких либо действий, из него проистекающих. Подобное досужее знание военные теоретики отвергали радикально. Знание не может быть нейтральным по существу; если оно ничего не изменяет в системе наших действий и поступков, то это вообще не знание, в нем нет никакого содержания.

Знание вовсе нельзя рассматривать изолированно, только как систему известных отношений. Наше знание определено не только предметом, на который оно направлено, но также и нашим бытием. Мы должны прежде всего известным образом быть, чтобы что-нибудь известным образом знать. Знание является пониманием практики и если этой практики нет, то знание становится не только не полезным, а скорее вредным, отравляющим, как токсин, развивающийся в нашей крови.

Этот примат **бытия над знанием** крайне характерно подчеркивался в военной литературе. Конечно, там не приходится искать чего-либо напоминающего знаменитую формулу Маркса из предисловия к „Критике политической экономии“. Формулировки в военной литературе иногда принимают весьма парадоксальный вид, едва-ли приемлемый, но в основе здесь лежит некоторая верная мысль, в особенности, если принять во внимание, что и чему здесь противополагалось.

Вот как формулирует эту мысль Мольтке: его мысль сводится, выраженная в самой общей форме, к положению: **так как строй армии иерархичен, то и строй мыслей должен быть иерархичным.**

Это звучит очень парадоксально и неприемлемо. Ведь, если согласиться с Мольтке, то придется думать, что воен-

ная иерархия, лестница чинов, есть нечто весьма абсолютное и законченное и что каждый человек, служащий в войске, находится на предназначенном ему самой природой месте, словом, нужно быть во многом военным утопистом, чтобы разделять этот тезис.

Согласно Мольтке, капитан должен рассуждать, как капитан, полковник, как полковник, генерал, как генерал. Мольтке мог бы сделать следующее замечание: поручик, вы совершаете большую ошибку, вы рассуждаете, как капитан. Мысль Мольтке легко можно окарикатурить, как будто он возводит в общее правило сомнительную пословицу: всяк сверчок знай свой шесток; но делать это и не к чему. Мольтке имеет в виду нечто гораздо более здравое, чем обычные ходячие представления о знании. В самом деле, обычно думают, что есть некоторое общеобязательное знание, пригодное для всех людей, что общеобязательность и есть собственно критерий истинного знания; дважды два четыре — положение верное для всех людей и во все времена. Истина совершенно независима от какого бы то ни было бытия.

На самом деле это, конечно, далеко не так.

Нет равнодушного к бытию знания. Знание предполагает определенные предпосылки и условия. В самом деле, раз знание понимается не только, как определенное содержание, но в то же время, как самосознание, то отсюда непосредственно следует, что в зависимости от изменения нашего бытия, изменяется и наше знание. Знание нейтральное и общеобязательное вообще есть фикция. Знание имеет вполне реальные предпосылки, и одних логических предпосылок здесь не достаточно. Знание вкоренено в жизнь и вне ее становится пустым и формальным. Люди знают по разному, и эти различия естественны и не случайны и не внешни для самого знания. Мольтке рассуждал в сущности гораздо более здраво, чем многие профессора логики.

Правда, нужно признать, что в военной литературе, несмотря на то, что правильно намечен путь, решение далеко не найдено. Здесь, конечно, я могу не говорить об отношении знания к военной иерархии, можно обойти специфически Мольтковское решение; но и у других теоретиков мы встречаем аналогичные мысли и аналогичные рассуждения.

В особенности часто эти бытийные предпосылки, необходимые для знания, отождествляются с нравственностью и добродетелью, в особенности с добродетелью мужества или с „силой характера“, как обычно выражаются. Когда читаешь подобные рассуждения, то получаешь впечатление, что знание у военного должно расти и развиваться вместе с ростом и развитием нравственных сил личности. Этот узкий моралиэм и индивидуализм едва-ли могут удовлетворить. Проблема же берется в рамках широкого социального освещения. Общественные силы выступают лишь под рубриками „патриотизм“ и „национальность“, при чем эти понятия весьма мало проанализированы в своей социологической значимости. Военные теоретики останавливаются там, где начинаются наиболее интересные проблемы.

3.

Таким образом, мы видим, что обычное противоположение волевого и умового типа в военном деле едва ли допустимо. Между мыслью и волей тут приходится делать только отвлеченное различие, потому что в действительности активное начало и начало интеллектуальное находятся в теснейшей связи друг с другом.

В особенности в настоящее время на этом приходится настаивать, потому что Мировая война многому научила.

До войны, может быть, весьма героически и звучали слова влиятельного французского военного писателя Кардо, который, вдохновляясь Драгомировым, отрицал все возможные предварительные расчеты, „кабинетную стратегию“, как он выражался, и говорил о необходимости создавать план на самом поле битвы под пулями и ядрами. Кардо противополагал тщательно продуманные маневры непосредственному и прямому движению на врага, и все это потому, что войну делают не пушки и не ружья, а человек.

До войны во французской армии долго боролись два течения, представленные одно деятелями собственно военными, а другое — военными инженерами; эта борьба перед войной кончилась не в пользу последних. Создатель пояса французских крепостей, Сере-де-Ривьер, должен был преждевременно покинуть свой пост. Мировая война ни в коей

мере не оправдала взгляды французских драгомировцев, напротив, французы выиграли войну, потому что у них нашлось достаточное количество талантливых инженеров, призванных на военную службу, которым предоставили свободу действия. Благодаря поддержке Англии и Америки, французы стали заметно превосходить немцев своими техническими средствами. В конце войны в особенности выдвинулся „генерал Танк“, как говорят немцы; блиндированные военные машины сыграли немаловажную роль в первональных успехах союзников (в июле и августе 1918 года).

Война стала вестись научно и технически, как говорят французы; фронт превратился в большую военную фабрику, весьма совершенную. То, что до войны понималось под „волей“, непосредственный порыв и громогласное „ура“, отошло на второй план. Техническая мысль стала определять действия армии.

В то же время произошел решительный сдвиг в понимании того, что собственно требуется от мысли. „Интеллигента“ стал решительно вытеснять „спец“. Мысль, как мы видели, имеет не только отвлеченно-формальную сторону, но и конкретную, и практическую. В соответствии с этим во Франции наметилась коренная ломка военного образования. Раньше выдвигали, как необходимый элемент общего образования, науки математические; теперь стали раздаваться голоса против пригодности „аналитического ума“ для военных целей, против них стали выдвигать „синтетические способности“. В этих целях многие рекомендуют посылать учащихся в военных школах на заводы и фабрики, где теоретическая мысль непосредственно переходит в действие и практику.

Действительно, техническая мысль, все еще слишком мало изученная, имеет очень много аналогий с мыслью военной. С одной стороны, она опирается на общие законы и отношения, добываемые точными науками, с другой стороны, она никогда не витает в абстрактных возможностях, и стремится прежде всего мыслить в данном конкретном материале; техник никогда не должен упускать из виду действительности. Таким образом, то, что в теоретических науках зачастую разъединяется, дар экспериментальный и дар математический (лучшим примером этого может служить

деятельность Фарадея и деятельность Максуэлла), то техника вновь соединяет, она невозможна без теории и без чувства конкретной действительности.

Во-вторых, техническая мысль имеет явно выраженный практический характер. Мысль в технике является моментом действия, правда, моментом весьма значительным; в технике совершенно нельзя действовать, не обдумав самым тщательным образом, как будешь действовать, и не рассчитав строго своих действий. Таким образом в действии техническом совершенно устраняется спор между волюнтаризмом и интеллектуализмом. Техническая практика приучает нас совершенно иначе рассматривать и расценивать и „волю“, и „ум“. Военные теоретики и педагоги вплотную подошли ныне к этим проблемам.

Как я уже говорил, военная мысль является самосознанием военного деятеля, „пониманием практики“, выражаясь языком Маркса; все, что этому пониманию так или иначе, прямо или косвенно, не служит, все досужие мысли, совершенно непригодны в военном деле. Наполеон как-то писал своему брату Жерому: „В вашем письме слишком много умных рассуждений, это не годится для войны“... Умные рассуждения, которые остаются только умными рассуждениями и не принимают никакой практической формы, ни в какой практике вылиться не могут, действительно не годятся для войны, они могут породить лишь путаницу и помешать действию. Военное мышление не может быть только тереотическим, не переставая в то же время быть военным. Мысль профессора Военной Академии, конечно, может быть теоретической, она может взвешивать возможности и разбирать предположения, но это не есть специфически военная мысль, мысль военного деятеля, когда он действительно воюет. Последний имеет дело с действительностью, а не с возможностью.

Это мысль максимально объективная, всецело поглощенная предметом, но при этом этот предмет вовсе не дается нам в пассивном созерцании, но всегда создается самими военными действиями. Поэтому предмет мысли военного деятеля, это он сам, поскольку он действует, поскольку действуют его противники, поскольку действуют враждующие армии.

Эти действия во многом стихийны и непредвиденны, как и все стихийные явления, но тем больше есть потребность разбираться в них, разглядеть что-нибудь в этом неверном свете, как говорит Клаузевиц. Это постоянный анализ, постоянная критика и самокритика, но вовсе не приводящая к одному сомнению и остановке в действиях, напротив, благодаря этому анализу и этой критике доводится до ясности первоначально хаотический опыт и подготовляется решение.

Таким образом, нельзя думать, что анализ и критика препятствуют лишь нашей активности и останавливают наше действие; в такой же мере они могут обосновать и укрепить нашу решительность. Знаю, потому что могу; могу, потому что знаю. Таким знанием обладает кормчий, когда ведет корабль в бурю.

Весьма ценными с этой точки зрения мне представляются некоторые рассуждения Клаузевица о психических свойствах истинного военного деятеля. Эти рассуждения стоят как бы особняком в современной психологической литературе. „Решимость в единичном случае есть проявление отваги“, пишет Клаузевиц. „Подразумеваем тут не отвагу среди телесных опасностей, но отвагу в виду ответственности, т. е. отвагу в опасности душевной. Этого рода отвага берет свое начало в разуме... Разум сам по себе не то, что отвага; умнейшие люди зачастую самые нерешительные“... Здесь же „разум сам должен вызвать отвагу“, ибо „решимость в настоящем ее значении избавляет от мучительных сомнений... Решимость, побеждающая сомнения, может быть вызвана только разумом, совершенно особым его направлением. Утверждаем, что одно лишь совместное существование высшего понимания и подходящих чувств еще не дает решимости. Есть люди, прекрасно схватывающие и проникающие самую сложную задачу, не лишенные при этом отваги перед ответственностью, которые, однако, в трудном положении не способны принять решение. Их ум и отвага стоят каждое само по себе и неспособны сплотиться в дружной решимости. Решимость вызывается только действием разума, который, сознавая необходимость риска, и вызывает волю... Поэтому люди с умом ограниченным не могут быть решительными. Иной из них в трудную минуту, пожалуй, и распорядится, не мешкая, но действует он необдуманно, не рассудив, а кто не думает, тот сомневаться не может“. (Стр. 41 первого тома).

Разум, таким образом, в определенной своей установке и действии не только способен порождать сомнения и неуверенность, но и сам их преодолевает и разрешает, приводит к решению. Только благодаря этой зрячести, этой сознательности, отвага из состояния, присущего человеку, становится действительной силой и источником целесообразных действий.

АНАЛИЗ.

1.

Неизвестность есть закон войны.

Все на войне как бы окутано туманом, в котором очертания предметов принимают самые причудливые формы.

Военный опыт, прежде всего, хаотичен, смутен и полон противоречий. Отсюда первая и основная задача—добиться ясности и отчетливости, рассеять этот туман.

Средством, которым мы располагаем для внесения ясности в предмет, является с логической точки зрения анализ. Поэтому военный ум будет, прежде всего, умом аналитическим.

Аналитический метод является незаменимым как во время непосредственных военных действий, так и во время мира, во время подготовки к войне,—в военной школе.

Наилучшее выражение этот метод нашел себе во Франции, у французских военных писателей; они применяют его с большой сознательностью. За последнее время наиболее показательным образчиком применения аналитического метода являются теоретические сочинения маршала Фоша. Его приемы во многом образцовы и в то же время именно на разборе его работ можно всего лучше видеть границы применения анализа и уяснить себе требования перехода к другим, более углубляющим работу мысли, методам.

В своих „Принципах войны“ Фош прежде всего порицает педантическую военную науку, витающую в абстракциях и забывающую, что война в первую очередь есть „драма, захватывающая и ужасающая“. Он решительно отказывается создать всеобъемлющую теорию только работой ума, простого рассудка, он хочет исходить из фактов. „Нужно изучить самую драму,—пишет он,—познакомиться с действующими лицами в разнообразных сценах, входящих в состав драмы“.

„С этой целью,—продолжает Фош,—вернемся к событиям, которые дает нам история. Для понимания такого сложного явления, как война, во всем многообразии ее форм, переберем события одни за другими, изучим их возможно ближе, так сказать, под лупой. Займемся микробиологией, но в обстановке их развития, т.-е. времени, места, температуры, утомления и т. д. Исследуем вопросы, которые действующим лицам приходилось решать,—роте, батальону, бригаде, корпусу, в их сфере действий. Рассмотрим, какие затруднения приходилось преодолевать и как они из них вышли. Обсудим принятые решения, достигнутые результаты, изучим все заново“.

В этой цитате сконцентрированы все признаки аналитического метода в его популярном принятии: целое изучается по частям, сначала действия роты, потом батальона, корпуса и т. д., принимаются во внимание различные слагаемые, которые и образуют сумму, конечный результат является, как сложное целое, это целое разъединяется на составные части, его элементы рассматриваются под лупой.

В результате мы научаемся понимать военное событие, применять к нему критику, оценивать средства и цели.

Тот подход к военным явлениям, который мы добыли на основании изучения прошлого и истории, переносится затем на проблемы настоящего, мы научаемся, как должно мыслить сейчас, что собственно требуется от военного мышления, словом, мы понимаем „особенность характера современной войны“.

Очевидно, перед нами будет стоять также определенная конкретная задача, имеющая много данных для своего решения. „Одним из данных является географическое положение, данный исходный пункт, для установления теории, которая позволит достигнуть преследуемую нами цель, а другим будет данная национальность. Географическое положение находится в тесной связи с положением политическим, экономическим, военным, с природой прав, которые надо защищать или восстановлять“,—пишет Фош.

Благодаря подобной интеллектуальной работе, картина все более и более проясняется, мы можем подготовиться к принятию решений, хорошо взвешенных.

При всем том этого далеко не достаточно.

Целое и сложное при изучении по частям, взятым в отдельности, под микроскопом, действительно облегчает решение, подготовляет его, но отнюдь не совпадает с ним. Как сказал бы Клаузевиц, все это касается лишь средств, подготовляющих к военным действиям, но это вовсе не касается употребления этих средств в дело. Но как раз в этом-то и вся суть вопроса.

Частности совершенно нельзя изучить отдельно и независимо от целого, целое ими не воссоздаваемо, напротив, оно над ними решительно господствует на войне. Прекрасно говорит об этом сам Фош: „при изучении теории родов войск, мы познакомились с боем пехоты, кавалерии и артиллерии. Мы проследили различные акты боя, т.-е. артиллерийскую борьбу, кавалерийские столкновения, бой авангарда, бой фронтальный, демонстративный, затяжной, решительную атаку и т. п. Но из этого изучения, проанализированного в отношении деталей, а в целом сохранившего описательный характер, нельзя вывести логическую связь между отдельными актами, между причинами и следствиями, т.-е. вывести все, что в целом управляет боем (курсив мой), (стр. 234 русского перевода).

„Нет,—восклицает Фош,—победа далеко не является суммой отдельных и частных результатов, а вытекает из усилий то спасительных, то с виду бесплодных. Все они сходятся к единой цели, направляются к одному искомому результату: к решению или развязке. Только это и приводит к победе".

Таким образом, анализ в его популярном понимании оказывается, может быть, и весьма полезным средством, но далеко не достаточным.

Нужно поставить в большую заслугу Фошу, что он не останавливается на популярном и ходячем понимании аналитического метода, но и углубляет этот термин до научного его смысла. В этой новой постановке проблема резко меняется.

Фош существенно модифицирует знакомый нам метод Верди. „Вместе с методом,—говорит Фош,—должен выявиться и результат, нужно от научной концепции перейти к искусству командования, от познания и усвоения истины к практическому приложению".

Как это сделать?

Как и у Верди, Фош рекомендует исходить прежде всего из частного случая, потому что на войне только и бывают частные случаи. Там все виды боевой деятельности, завершаясь, не воспроизводятся вновь. Каждый рассматриваемый случай является частным, т.-е. находится в области определенных условий, присущих местности, состоянию войск, тактическому положению и т. п.; все это создает особенности, совершенно своеобразные.

„Но,—продолжает рассуждать Фош,—раз частность решительно доминирует, то она отнюдь не может быть выражена в общих положениях, мы приходим к уравнению с неопределенным числом функций:

$$f\ (a,\ b,\ c\ \ldots\ldots\ k,\ l,\ m) = 0."$$

Фош очень остроумно показывает, как правильно понятый анализ позволяет устранить и преодолеть эту, повидимому, неустранимую трудность.

„На войне,—пишет он,—существует только один способ подходить к рассматриваемому вопросу—способ объективный" (курсив Фоша).

„Военное искусство—не забава, война—не дело дилетантизма и спорта. Войну не ведут без причины и цели. На войне все между собою сцепляется, взаимно проникает, повелевает, там творят не то, что каждому хотелось бы. Каждая операция носит свой внутренний смысл, т.-е. объект (курсив Фоша). Раз избранный, он определяет качество и количество необходимых средств, требует применения известных сил.

„В каждом отдельном случае объект дает ответ на знаменательный вопрос, который поставил себе Верди-дю Вернуа, прибыв на поле сражения у Находа.

„Представившиеся затруднения заставили его схватиться за голову, искать в памяти примера или указаний, могущих подсказать, как поступить в данном случае. Ничто его не выручает. К чорту, говорит он, историю и примеры. Прежде всего в чем тут дело? И тотчас же его мысль проясняется. Вот объективный способ понимания предмета. Операцию ведут в зависимости от ее объекта, в самом широком смысле слова, спрашивая в чем тут дело"?

Нельзя оригинальнее истолковать прикладной метод Верди, нельзя более отчетливо владеть примерами анализа, чем это сделано у Фоша в этих цитатах.

В самом деле, вся сила и оригинальность аналитического метода состоит в том, что я вовсе не исхожу из тех или иных аксиом или принципов, из тех или иных созданных гипотез и предположений, а что я действую вообще без предвзятости, что я исхожу из самого задания, из самого объекта, и если задача поставлена правильно, если она не заключает в себе бессмыслицы, то ее собственные условия заключают в себе решение.

При аналитическом рассмотрении мы исходим от обусловленного к условию, от общей задачи к частным задачам. Всякий факт, всякое явление обусловлено целым рядом общих закономерностей, которые все являются его условием. Поэтому стоит мне только вглядеться в объект, чтобы в то же время я мог его понять, т.-е. чтобы я мог схватить те общие положения, которые обусловливают возможность его существования.

Пусть, например, я вижу перед собой полет камня. Чем обусловлен его полет? Прежде всего законом инерции и, во-вторых, притяжением земли. От факта я, таким образом, восхожу к закону, это частное легко умещается в этих общих закономерностях, которые я тщетно пытался подыскать, оставаясь на почве одной дедукции. „В каждом случае объект дает ответ на вопрос“,—говорит Фош.

Отсюда он выводит свое обоснование военной мысли, аналитической по существу. „Логическое решение a priori, исключая всякую предвзятую форму, тут внушается частным случаем, но взятым по существу в самом себе, как пишет Фош, т.-е. в его общих определениях в зависимости от общих принципов. Поэтому,—заключает Фош,—рациональный способ действия, являющийся продолжением объективного изучения,—вот первый верный и простой результат, получаемый всеми, кто подходит к решению с вопросом: в чем тут дело?“

Фош иллюстрирует эту общую свою мысль, которою он вправе гордиться, следующим примером: „Представим себе, что перед охотником взлетит выводок; если он полетит справа налево, стрелять надо вперед и влево; при полете же слева

направо, целят вперед и вправо. Если птица полетит на охотника, то метят перед ней, а если удаляется—через нее“. Таковы простые решения, осуществляющиеся у опытного стрелка автоматически, но это исполнение предполагает близкое знакомство со средствами, которыми располагают, умение ими пользоваться. Предполагается, что ружье охотника в исправном состоянии и заряжено, что рука его сильна, что глаз его изощрен.

Точно так же, прежде чем перейти к комбинированному использованию всех родов войск, надо их знать, уметь ими управлять. То же самое относится и к местности. Надо обладать знанием, что местность дает, чтобы быстро найти искомое решение, когда оно задано. Не иначе обстоит дело и относительно фортификации. Словом, везде нужно следовать одному правилу: „Оценивая каждый вопрос свободно в самом себе, спрашивайте: в чем тут дело? В этом начало искомой обработки ума, здесь кроется преследуемое нами чисто объективное направление, всякий раз вдохновляет для оригинального решения не особый таинственный дар, а обсуждение и размышление. Это знал и об этом говорил уже Наполеон“.

Таков этот метод, ему нельзя отказать в последовательности, это вполне правильно понятый анализ, и книга Фоша дает многочисленные примеры подобного аналитического подхода к разбору отдельных сражений.

Но спрашивается, достигается ли этим полное решение вопроса, сполна ли этот метод способен нас удовлетворить?

Сам Фош указывает на границы приложения подобного аналитического метода: он изменяет нам в самом важном, в самом значительном, что есть на войне. Хотя Фош весьма близко подходит, благодаря своему объективному анализу, к проблеме решения, он все же не в состоянии ее разрешить. Об этом с наибольшим красноречием и убедительностью говорит нам сам Фош.

Решает дело в конце концов само сражение, но этот акт вовсе не состоит просто из сочетания элементов, как мы только что видели; сражение предполагает комбинацию сил, владение этими элементами, которые получают всякий раз особое направление в этом действии. Определяет исход боя и дает победу тактика, порядок, эволюция. „Существует,

таким образом,— говорит Фош,— рациональное управление боем" (стр. 238). Логика предъявляет свое право, свою неумолимую требовательность.

Но в чем состоит это требование?

Разве не все уже подготовлено, разве не все уже продумано, на чем еще настаивает Фош? Вот что кажется на первый взгляд непонятным.

Фош на этот вопрос отвечает: „Чтобы наша армия была победоносной, нужно обладать моральным превосходством над противником или его должно создать командование.

„Организовать победу — это значить развить до высшей степени наш моральный элемент, чтобы подавить его у противника".

Этот моральный элемент должен быть, прежде всего, у командования, потому что оно принимает решение. Поэтому нужно подчеркнуть „личное влияние начальника" (стр. 241).

Мы видим, таким образом, как в проблеме решения радикально изменяется точка зрения Фоша. Он исходил из требования предмета, из объективного анализа, теперь же выдвигает субъект, личность, интуицию, синтетические способности, прирожденный дар. „Когда наступает час для принятия решения, сопряженного с ответственностью, с неизбежными жертвами, где искать исполнителей этих всегда опасных и рискованных предприятий, как не в среде людей высшей природы, жаждущих ответственности... Это люди, проникнутые волей к победе... Они находят в ней необходимую энергию, чтобы без колебания осуществлять самые страшные права, с апломбом итти против сферы затруднений и жертв, энергию, позволяющую всем рисковать". В другом месте Фош еще ярче подчеркивает свою мысль: „нужен повелевающий флюид, дар внушать одушевляющую вождей энергию людской массе".

Как ничтожна теория перед этим величием!—восклицает Фош. „Да, самые прекрасные идеи не производят никакого действия без качеств, которых исполнения требуют от высшего командования".

Тут, в этих немногих темпераментных словах развита целая критика аналитического метода, проницательная и в основе совершенно верная: „Пусть теория сохраняет права анализировать, но анализ один недостаточен".

Действительно, что может сделать один анализ, наиболее правильно понятый, наиболее верно примененный? В лучшем случае он вносит ясность в предмет и множит возможности. Он вращается всегда и везде в области возможного, никогда не доходя до действительного, конкретного. Действительное и конкретное должны быть уже налицо, тогда мы можем в любой степени приближаться к его все более полному и отчетливому осознанию.

В начале своего труда Фош так и поступает: он исходил из вопроса, в чем дело, он исходил из предмета и отсюда строил свой объективный анализ, но при этом он как бы забывал, что этот предмет в военном опыте не просто нам дан, но в равной мере и произведен нами, нашей активностью, нашей волей к победе; только ведя войну, мы производим военные явления.

Решение и решимость обусловливают, таким образом, предмет, активный момент снова выступает. Он рисуется Фошу как что-то абсолютно иррациональное, как некий гипнотический флюид, как полководческий дар внушения. Этим самым вносится разлад в уже достигнутую гармонию.

Может казаться, что легко сделать соответствующие коррективы к Фошу, чтобы исправить его ошибку. Фош слишком математически понимает анализ, он не замечает, что знание может быть истолковано, как понимание практики; стоило Фошу стать на эту диалектическую точку зрения—и его затруднения и противоречия были бы преодолены.

С этим можно было бы согласиться, но дело в том, что изменение в этом пункте неминуемо ведет за собой изменение и всей концепции. Военный опыт, рассматриваемый с диалектической точки зрения, рисуется нам в виде совершенно иной картины, чем при аналитическом подходе к нему: он становится изменчивым и текучим.

В чем дело? восклицал Верди ди Вернуа в битве при Находе, хватаясь за голову и отправляя к чорту историю и теорию. Кто даст ему на этот вопрос ответ? В математике ответ дает сама задача, она в себе самой заключает условие своего решения. Точно так же и в физике сама проблема при правильной ее постановке распадается естественно на ряд частных проблем, которые ведут или, по крайней мере, указуют на решение. В свое время Гельмгольц говорил:

„Чтобы понять физическое явление, я должен подыскать к нему соответствующую механическую схему". Он хорошо понимал, в чем заключается вопрос физический, что собственно он требует: проблема физическая должна быть фиксирована, как механическая.

Но далеко не так обстоит дело на войне. Природа войны расплывается во все стороны, военные события совершаются как бы в тумане, они словно залиты лунным светом, в котором все очертания предметов приобретают гротескный вид. Как же здесь можно установить, в чем тут дело? Это кажется на первый взгляд совершенно невозможным.

Военный опыт, прежде всего, хаотичен и беспорядочен; ближайшей задачей является его упорядочение, оформление; это работа сложная, ее невозможно произвести без рассуждения и отвлечения, но, с другой стороны, и без ряда опытов, более или менее приблизительных и точных.

Мы идем ощупью, как в темной комнате, постепенно нащупываем предметы, перед нами выясняется, в чем же тут дело? Проблема тут не просто поставлена, как задача в математическом задачнике, в котором указаны как вопрос, так и условие; здесь проблема всего лишь ставится, лишь постепенно она определяется вместе с развитием обстоятельств, вместе с нашими действиями. Здесь проблема отнюдь не фиксирована, здесь она прежде всего должна быть нами фиксирована. Все это отлично знает и сам Фош.

Обычно видят главное различие французской доктрины от немецкой, до-военной[1] в том, что французы приписывали большее значение авангарду и тактическому резерву, в то время как немцы придерживались более смелой наступательной тактики, считая, что нужно сразу ударить всеми силами в одну точку, а тактический резерв только может ослабить силу этого удара. Войска, правильно направленные, бьют в нужное место, определить же это место зависит от „орлиного взгляда военачальника" (слова Шлиффена).

На первый взгляд может казаться, что французы более осторожны, чем немцы, но дело вовсе не в осторожности или смелости, а в совершенно различном понимании самого боя. Согласно французской доктрине, бой развертывается,

[1] Теперь стало во многом иначе. См. новые немецкие уставы.

он состоит из ряда событий, а не из одного события, нельзя победить сразу, сражение есть борьба, аналогичная борьбе фехтовальщиков. Бой планируется не только в пространстве, но и во времени. Французы сохраняют свой резерв вовсе не из чувства безопасности; все в нужный момент должны драться вместе, все силы должны быть пущены в ход; все различие в том, что французы больше подчеркивают диалектику боя, а немцы стремятся определить место, где должен произойти решительный удар.

Фош—яркий представитель французской доктрины; особенно поучительно в этом смысле его учение о выборе пункта атаки.

Он согласен с немцами, что одного материального превосходства, проистекающего от количества, недостаточно. Современное вооружение войск производит слишком деморализующее влияние. Необходимо овладеть пространством, чтобы развернуть материальное превосходство, умело использовать многочисленные пушки и ружья.

Но в то же время Фош против пристрастия современной тактики к фланговой атаке, позволяющей развить некоторое превосходство огня против пункта, избранного в качестве объекта действий. Подобное пристрастие ведет к гибели. Это предвзятое схематическое решение; нужно принимать специальные решения, отвечающие данным условиям, соответствующие обстановке. Сам ход боя обнаружит пункт, где неприятель сдает, где сопротивление недостаточно. Очевидно там и надо пробуравить отверстие, направить поток. Там-то решительная атака и имеет наиболее шансов на успех.[1]

Этот пункт, конечно, может выясниться лишь в самом процессе боя и отнюдь не может быть намечен предварительно, ибо обстановка выясняется лишь постепенно, и не может быть сразу ясно, куда именно нужно направить решительный удар.

Требуется прежде всего выяснение условий и обеспечение безопасности операции. И то и другое Фош подробно разбирает в своей книге (главы 6 и 9).

[1] Эти слова показывают, что французская доктрина требует весьма высокой подвижности армии. Неуклюжая и неповоротливая армия рискует сосредоточиться именно там, где враг не сдает.

Обратимся прежде всего к роли авангарда. „Как преодолеть эту неизбежную неизвестность, как можно разглядеть что-либо сквозь густой туман, всегда окружающий расположения и намерения противника", спрашивает Фош и тут же отвечает: „это достигается при помощи авангарда".

Когда мы ходим ночью по нашей квартире без освещения, мы протягиваем руки вперед, чтобы не удариться головой об стену. Протянутым рукам и уподобляется авангард. Рука, сохраняя свою упругость по мере нашего движения вперед, проявляет силу только встречая препятствия, для безопасного выполнения своего назначения, чтобы открыть дверь и т. п.

Точно так же и авангард может без боязни поражения продвигаться и ввязываться в бой изолированно, при условии упругости и силы, способности маневрировать и сопротивляться.

Вместе с развитием огневой техники неизвестность обстановки значительно увеличивается. Во времена Наполеона отдавали приказания на очень близком расстоянии перед неприятелем, которого хорошо видели. Но теперь, когда войска ищут всевозможных укрытий, естественных и искусственных, теперь, когда войска даже огнем своим не обнаруживают пункты, занятые ими, картина резко меняется. Неизвестность становится полной. Завязка боя напоминает борьбу двух слепых, которые разыскивают друг друга, ничего не видя. Никоим образом нельзя позволить себе окончательно впутаться в бой, не стараясь разглядеть и узнать, с кем имеешь дело и что именно нужно предпринять. Напротив, сперва нужно втянуть в бой противника, а затем уже ударить его покрепче. Необходимо прежде всего добывать сведения, даже на самом поле сражения, а для этого нужно выслать авангард, вытянуть вперед щупальцы. Авангард является органом добывания сведений и разведки, производимой до вступления на поле сражения включительно.

Но на этом дело не останавливается; мало знать, что делается против тебя, нужно еще фиксировать предмет; обстановка и деятельность неприятеля постоянно меняются. Враг не остается неподвижным, поэтому, с одной стороны, нужно подготовить главные силы для удара и сосредоточить их и в то же время приковать к месту неприятеля. Потому что нельзя верно бить кулаком убегающего от удара. Сперва его хватают за шиворот, чтобы принудить получить удар.

Отсюда вытекают две следующие задачи авангарда: во-первых, прикрывать сосредоточение главных сил и подготовлять их выход на сцену, а во-вторых, приковать к месту неприятеля, которого хотят атаковать.

Такова эта теория авангарда; она показывает, как нельзя более ясно, что бой есть прежде всего процесс, развертывающийся во времени. Главное дело — выигрыш времени, пишет Фош (стр. 130). Анализ вовсе не оперирует здесь с готовыми зарегистрированными данными, а с данными подвижными, изменчивыми, непостоянными. Задача командования довести до предела, до точки, до ясности эту изменчивость.

Также любопытно учение Фоша о тактическом резерве, о свободе действия.

Резерв собственно становится совершенно излишним, если силы неприятеля точно известны и вполне определилось, где он закончил развертывание. Резерв, который не пускают в дело, представляет совершенно мертвую силу. Если образуется резерв, то только для маневрирования и для ведения атаки с большей энергией. Таким образом, тактический резерв создается для усиления натиска и отнюдь не должен его ослаблять, и в то же время кажется, что, уводя части в резерв, мы ослабляем силы непосредственно действующие.

Тактический резерв стоит в теснейшей связи со свободой, которую нужно сохранить во что бы то ни стало, приковывая в то же время врага, лишая его свободы. Свобода есть, таким образом, условие и закон победы. В известном смысле это сама победа. „Говоря о средствах ведения войн и операций,—пишет Фош,—мы видели, что постоянной нашей заботой было сохранение свободы. А в конце войны, когда явятся победитель и побежденный, в чем выразится разница обоих положений, как не в том, что один будет свободен что угодно делать с другим, предъявлять ему всяческие требования, а другой станет обязан все исполнять, соглашаться на все, его потребует

победитель". Военное искусство, в конце концов, есть искусство сохранения свободы,—говорил уже Ксенофонт.

Но что такое свобода, которой поет гимн генерал Фош? В его труде этот термин осложнен многими привходящими элементами; о свободе Фош говорит в связи с интеллектуальной дисциплиной и в связи с принципом экономии сил.

Но если мы устраним все привходящие элементы, то увидим, что свобода у Фоша понимается, как момент перехода от неопределенности к определенности. Когда все определилось, когда все ясно, нет места свободе, тогда необходимо решать и действовать. Если враг прикован нашими войсками и неподвижен, а мы располагаем неизрасходованными силами, тогда нужно нанести удар, тогда все силы необходимо бросить на врага. Напротив, если враг явно нас превосходит, если он занес кулак для удара, то необходимо увернуться, выйти из-под удара, чтобы он пришелся впустую. Таким образом, свобода всегда переходит в необходимость, и свобода означает собственно возможность этого перехода.

Следовательно, на войне потому существует свобода, что наш анализ остается незавершенным, что обстановка недостаточно выяснена, что нужно создавать все новые условия для решения, что эти условия создаются нашими действиями. Свобода, следовательно, указывает на границы анализа и его пределы.

В самом деле, когда эти условия исполнены, для свободы не остается более места, тогда необходимо действовать. Наша свобода остается при нас, как постоянно сохраняемая возможность, но никогда не переходящая в действие; эта свобода совершенно бесполезная вещь, „симптом робости, бездействия и пассивности".

Но, таким образом, анализ на войне существенно изменяется. Это анализ уже не математический, а анализ диалектический.

2.

Можно вполне ясно и отчетливо изложить применение, роль и значение анализа в математике. Здесь при решении задач мы исходим из имеющихся данных, из вполне опре-

деленных условий, здесь задача всегда вмещает условия для своего решения.

Но на войне условия не даны, они неизвестны, их нужно еще отыскать, открыть, или, вернее, создать, ибо условия победы создаются во время борьбы, в ее живом процессе. Здесь тоже имеется аналитическая работа, но развернутая в процессе, у нее нет неподвижного, данного отправного пункта.

В чем тут дело?—спрашивает Фош,—но чтобы разглядеть, недостаточно просто внимательно всмотреться, необходимо действовать, активно производить разведку, сражаться, потому что враг держит вас в отдалении своим огнем и своими выдвинутыми вперед постами. Задача проясняется по мере движения вперед, условия ее решения обнаруживаются, а не просто вычитываются из задачника. Вот существенные различия применения анализа в военном деле сравнительно с математикой.

В одном из последних номеров журнала „Красная армия" (№№ 16 и 17) в статье „Диалектика и военное дело", авторы указывают на чрезвычайно близкое применение анализа в военном деле с тем, которое было принято Марксом в его методе политической экономии.

Маркс, как известно, пользуется также аналитическим методом. В предисловии первого тома „Капитала" он прямо пишет в пояснение своим критикам, которые смешивали его метод с методом Рикардо: „это не абстракция, а анализ". Но этот анализ у Маркса поставлен в теснейшую связь с диалектикой.

Соединение анализа с диалектикой ни в коем случае не должно смущать. Ведь диалектика Маркса не могла совпадать с априорной диалектикой Гегеля, который из ничего выводил все категории чисто умозрительным путем. Маркс стоит на почве фактов, он стремится в них разобраться, наметить закон их смены, тенденцию их развития. Аналитическая работа тут является совершенно необходимой; иначе хаос не может быть преодолен, иначе нельзя внести порядок в предмет.

Действительно, в предисловии к политической экономии (ныне переведенной в сборнике „Основные проблемы политической экономии", стр. 25) Маркс пишет: „конкретное

потому является конкретным, что оно заключает в себе множество определений, являясь единством в многообразии. В мышлении оно выступает, как процесс соединения, как результат, но не как исходный пункт, хотя оно является исходным пунктом в действительности и, следовательно, также исходным пунктом наглядного созерцания представления".

Конкретное до всякого анализа представляется нам чистейшим „хаосом", конкретное проанализированное представляется нам „богатой созокупностью с многочисленными определениями и отношениями". Таким образом, диалектическое движение мысли от конкретного, данного нам как хаос, к конкретному же, но представляющемуся уже нам как „богатая совокупность", идет через анализ. [1]

Эти общие методологические указания Маркса легко переносимы на природу военного дела, как совершенно правильно указывают уже упомянутые авторы статьи „Военное дело и диалектика"—Ахов и Прокопенко.

3.

Мы можем теперь подитожить выводы, добытые нами из разбора взглядов Фоша, и в то же время углубить их в теоретическую сторону, осветить вопрос принципиально.

Рационализация военного опыта является хотя весьма трудной, но все же безусловно необходимой, задачей, всегда стоящей перед военной мыслью, — это путь к полноте ее содержания, к ее содержательности.

Методом подобной рационализации является прежде всего решительный и далеко идущий анализ, вплоть до последних по возможности элементов. Аналитическая мысль и здесь, как и в других областях, празднует свою победу. Мы должны исходить из задачи, из самой проблемы, как бы сложна и многозначна она ни была; разбивая ее на частные вопросы, умножая проблемы, мы тем самым все ближе и ближе подходим к искомому, нам нужному решению. Аналитический ум уместен у военачальника не менее, чем у геометра, но дело в том, что чистый анализ здесь решительно не в состоянии дать нам средства окончательно рационализировать полноту всего опыта, и мы быстро должны будем перейти к иным методам познания. Природа войны далеко не совпадает с геометрией.

[1] Сравни подробнее об этом предмете статью Звенигородского в журнале „Под знаменем марксизма" 1922 год, книга 12-я. „Учение Маркса о понятии".

Может быть, всего яснее это можно сделать, рассматривая те пути, какими обычно приступают к рационализации военного опыта.

Предпосылкой военного опыта обыкновенно является мирная военная работа, которую совершает вся армия в ее целом, от верхов до низов, подготовляя план войны, создавая военные доктрины и воспитывая в ее духе войсковые части. Даже когда мы не вполне знаем его, мы все же так или иначе его предполагаем, ибо есть некоторый порядок, связанность и последовательность, открываемые в хаотических на первый взгляд событиях, намеренность в движениях войск и в замыслах и решениях вождей; они все осуществляют ту или другую им наперед предписанную программу. Мы убеждаемся, что военный опыт не есть чисто стихийное явление. В нем принимает участие расчет и мысль. Правда, как говорят, ружья стреляют сами собой, тем не менее они стреляют в определенную сторону; это нужно иметь в виду, когда пытаешься осмыслить войну, возникшую даже со стихийною силой.

Поэтому обычно описанию собственно военных действий предпосылают план, принятый так или иначе, проводимый враждебными сторонами, и рассмотрение этого плана во многом объясняет течение военных событий, в особенности в первых стадиях и периодах войны. Как поражение, так и победа могут быть предчувствуемы и даже объяснены из разбора этого плана, из оценки его достоинств и изъянов.

Правда, мы не имеем, кажется, нигде ни одного примера, чтобы этот предварительный план всецело осуществился; всегда на опыте мы встречаемся с тем, что Клаузевиц столь удачно назвал трениями, т.-е. явлениями, которых никакая мысль не предвидела, но которые все же были вызваны к действительности самим наступлением военных событий. Эти трения суть тот иррациональный остаток, который не был принят в расчет рассчитывающей мыслью. Этот иррациональный остаток можно иногда игнорировать, ибо он не имеет решающего значения, но, количественно

увеличиваясь, он указует на дефекты и изъяны первоначального замысла.

Иногда можно констатировать, что влияние этих трений, как бы значительно оно ни было, в отдельных частных случаях все же не в силах было опрокинуть и сделать неисполнимым проведение общего плана, который все же в общих чертах лег в основу развития событий и был таким образом приведен к благополучному концу.

Но тут же нужно заметить, что подобный благополучный исход бывает крайне редко, в исключительно счастливых войнах, длящихся непродолжительное время. Обычно приходится так или иначе менять первоначальное положение, легшее в основу, вносить в него те или иные поправки и дополнения. Если же этого не делается, то мы имеем перед собой ошибку, которая называется предвзятостью. Эта ошибка всегда возникает, когда военачальник не соображается с обстановкой, не оценивает ее требований, не принимает во внимание ее особенностей и свойств, в угоду раз принятому плану не изменяет своих распоряжений. Живое чувство действительности, „предметное сознание“ есть одно из качеств военного ума, которое не может быть заменено другими, хотя бы и блистательными качествами. Но и тут мы должны сделать соответствующие оговорки; вовсе нельзя исключать всякую предвзятость и ставить во главе угла только обстановку и приспособление к ней. Подобное приспособление в конце концов может лишить войско всякой активности, решительной воли, навязываемой врагу. То, что называется предвзятостью, всегда обнаруживалось в действиях великих полководцев, и в этой предвзятости выражалось всего рельефнее и всего яснее величие их мысли и их духа.

Настойчиво и неуклонно, не считаясь ни с какими препятствиями и, конечно, менее всего с так называемым здравым смыслом, который так любят рекомендовать некоторые военные теоретики, великие вожди шли к своей цели, умели рисковать всем, чтобы выиграть все.

Предвзятость нельзя отрицать безусловно, как и нельзя утверждать безусловно. Здесь мы сталкиваемся с противоречивостью военного опыта, с диалектичностью, присущей его природе. На этом нам необходимо остановиться.

Как мы видели, военный опыт для нашего рассмотрения прежде всего распадается на два элемента: известный план [1] и обстановку. При этом изменчивость обстановки всегда будет нудить к принятию все новых и новых решений. Военная мысль есть по преимуществу мысль активная, она никогда не может успокоиться на достигнутом, она развивается в решениях быстрых и подвижных, ибо на войне промедление смерти подобно.

Если с этой точки зрения рассматривать военный опыт, то он во многом оказывается тождественным с опытом естественно-научным. И в опыте естественно-научном мы всегда имеем с одной стороны гипотезу, с другой—наблюдение и эксперимент. Я понимаю здесь термин „гипотеза“ в самом широком значении этого слова. Обычно под гипотезой подразумевается некоторое предположение, которое еще нуждается в дальнейшем подтверждении; гипотетическое в этом смысле отличают от достоверного и вполне доказанного, несомненного; но гипотеза может иметь и другое значение, более буквальное; в переводе с греческого гипотеза означает „положенное в основу“; в этом смысле гипотеза означает принцип, начало, то, от чего мы отправляемся в нашем опытном исследовании. В самом деле, наблюдение и эксперимент без всякого плана, без всякого предположения, без всякой в этом смысле гипотезы, ставить нельзя; опыт есть сознательно поставленный допрос природы. Как следователь задает вопросы обвиняемому с определенной целью, руководясь известными предположениями, и во всяком случае не без расчета,— точно также и естествоиспытатель не приступает к делу экспериментирования без известных, предваряющих данный опыт, предположений; и самые результаты опыта истолковываются, как определенные ответы на весьма определенные вопросы. Можно сказать, что вся трудность экспериментирования и сводится к тому, чтобы ставить по возможности однозначащие вопросы и получать однозначащие ответы.

Военный опыт можно рассматривать, как большой кровавый эксперимент; в нем испытывают себя гипотезы, которыми руководились армии и стоящие за ними народы. Война есть испытание годности или негодности тех основных пред-

[1] То, что в иных случаях называется целью.

положений, на которых строит свою жизнь государство; в этом смысле войну справедливо сравнивают с экзаменом или с судом.

Наряду с этим сходством опыта военного с опытом естественно-научным приходится подчеркнуть и их различие. Прежде всего необходимо подчеркнуть, что опыт естественно-научный гораздо менее подвижен и изменчив, он более устойчив, в нем можно продуктивно работать, так сказать, шаблонно, исходя из вполне установленных твердых принципов, которые кажутся поэтому до поры до времени вечными, как бы вкорененными в самую природу нашей мысли (как думают кантианцы). Во всяком случае, разрабатывая какой-нибудь частный вопрос, мы уверены, что опыт, правильно поставленный, как бы он ни был порой сложен и труден, все же даст нам желательный ответ. Мы склонны верить, что этот ответ уместится в наши схемы и основные предположения, не ломая их. Если, например, мир в своем целом является механической задачей, то явление света и явление звука должны быть поняты, как движение. Конечно, нужно обладать хорошим воображением и большой гибкостью мысли, чтобы понять, например, свет, как колебание эфира, но при всем том, здесь обычно задача облегчена тем, что мы можем твердо рассчитывать на действительность общих принципов и исходных точек, столько раз проверенных, столько раз подтвержденных. В опыте естествознания слабее обнаруживается изменчивость самих законов и изменчивость самих явлений.

Только в эпоху больших кризисов научной мысли, в общем редких, мы наблюдаем нечто подобное. Как раз современное состояние естествознания представляет нам подобную картину. Теперь поколеблены наиболее общие принципы, на которых строилась Ньютоновская картина мира. Эти принципы все более и более сознаются, как частные случаи гораздо более обширных и далеко идущих закономерностей. Перед нами как бы новый опыт, т.-е. опыт не вполне и не во всем согласный со старым опытом; поэтому мы нуждаемся и в новых руководящих гипотезах.

То, что в математическом естествознании совершается медленно и во всяком случае не столь приметно, то в опыте военном совершается гораздо быстрее и нагляднее; отсюда

понятна борьба против принципов в военной литературе; принципы сознаются слишком часто как шаблоны, препятствующие дальнейшему прогрессу и затемняющие живой опыт.

При этом столь зачастую слишком забывают, что без принципов невозможно вообще никакое действие. Если военное дело прежде всего действенно и практично, то, вполне соглашаясь с этим, отнюдь нельзя забывать, что его действенность идет от знания, а не от незнания, как совершенно правильно говорил в свое время Виллизен.

Без каких-либо твердых опорных пунктов вообще нельзя действовать, и эти опорные пункты всегда явятся теми или иными принципами, „началами“, если перекладывать латинский термин на русский язык.

Но, как я сказал, природа военного опыта такова, что он максимально подвижен и изменчив, в военном деле действительно невозможно применение каких-либо шаблонов, требуются все новые и новые усмотрения и решения.

Уже здесь анализ нас очень мало может выручить, ибо анализ не указует по существу никаких путей для обретения этого решения, как мы видели при разборе взглядов Фоша.

Анализ раскрывает нам проблемы и возможности, он их множит, но он совершенно умалчивает, как от этих возможностей перейти непосредственно к делу и решению.

Анализ изменяет нам там, где мы имеем дело с изменчивым опытом. Предположим, мы исходили из известной обстановки, которая заключала в себе условия задачи; чем более я расчленяю эти условия, чем лучше и отчетливее я их осознаю, тем более точное и правильное способен я дать решение. Но на войне эта обстановка не является чем-то вполне точно определенным, качественно пребывающим; она изменяется, обнаруживается контр-удар противника, который не входил и, главное, не мог входить в наши расчеты, и который мы должны теперь парировать, требуется новое решение, новый акт воли и новый акт мысли.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ.

1.

Военный опыт при чисто аналитическом способе его рассмотрения распадается на ряд „опытов“, между собой ничем не связанных, представляющих каждый нечто в себе замкнутое: каждый из них имеет свою обстановку, свой „принцип“ и свое решение. То, что имеет силу в одном случае, не имеет никакого значения в другом.

Военный опыт под влиянием аналитической мысли без конца атомизируется, распыляется, в нем исчезают всякая закономерность и связь, снова, но по-новому, всплывают на поверхность иррационализм и хаотичность.

Такой вдумчивый и осторожный писатель, как Лорингофен, приходит именно к такому выводу на основании анализа и событий Мировой войны.

Мировая война длилась неожиданно долго, развила многообразно и непредвиденно свои потенции, отвергла многое, что выдавалось раньше почти за несомненное.

Мы должны установить лишь частные значения и в крайнем лишь случае можем воспользоваться лишь весьма общими аналогиями. Военная работа германского генерального штаба получает новое оправдание. Конечно, „Канны“ Шлиффена не могут претендовать на исключительную значимость, но все же они оправдали себя в отдельных случаях, например, при Танненберге, при окружении русского XX корпуса, отчасти при вытеснении русских из Польши; и на Западном фронте, в особенности в первые месяцы войны, французам можно было бы устроить ряд „Канн“, если бы немецкое высшее командование было более активно. В свою очередь, и прорыв укрепленной позиции

имеет место; об этом свидетельствует успех Людендорфа в марте 1918 года: немецкая армия сильно поколебала фронт союзников и чуть было не разъединила англичан от французов, ей оставалось пройти всего каких-нибудь 11—15 километров. Многое подтвердила Мировая война, но, именно, как частный случай, всегда в определенной обстановке и в определенных условиях. Именно на этой точке зрения и стояла германская военная мысль, ведущая свое происхождение от Клаузевица [1].

Едва ли нужно после всего сказанного подчеркивать, что позиция, на которой стоит Лорингофен, не выдерживает критики. Это отказ от всякой рационализации и от учета опыта, это самый примитивный эмпиризм; это адогматизм, возведенный в норму, это злоупотребление анализом; правда, аналитическая мысль дробит военный опыт и разлагает его на элементы, но этот путь раздробления при правильном пользовании анализом ведет к установлению новых связей и новых отношений, к установлению порядка в находимых и констатируемых элементах.

Подобный порядок, конечно, может быть установлен только иными познавательными средствами; в самом военном опыте должен быть открыт этот упорядочивающий принцип.

Путь заключений от частных случаев к частным совершается закономерно, не на основании только самих общих аналогий; во всяком случае не любой „частный случай“ следует за другим; напротив, военный опыт прежде всего непрерывен, элементы военного опыта связаны между собой не капризно и не произвольно, а по правилу, серия фактов развертывается непрерывно; во всяком случае мы должны предполагать подобную закономерность; в этом собственно и состоит задача.

Вполне естественно поэтому, что лучше теоретики именно эту идею кладут в основу своего исследования военного опыта последней Мировой войны.

Правда, на первый взгляд может показаться, что как раз военный опыт и не отличается непрерывным характером; в этом как будто он даже противоположен опыту

[1] Подобное понимание Клаузевица действительно распространено; мы видели, что Клаузевица можно истолковывать и иначе, в диаметрально противоположном смысле.

естественно-научному. На первый взгляд военный опыт скорее прерывен, войны ведутся далеко не постоянно, со значительными перерывами, если не считать, конечно, столкновения различных диких народов между собой. Во время же долгих пауз мира приходится гадать о формах войн будущего, при чем эти гадания не во всем сходятся с действительностью.

Но эта фактическая прерывность военного опыта все же вовсе не исключает возможности приложения к нему логической идеи непрерывности. Ведь и опыт физико-математический в известном смысле являет собой черты прерывности. Почти всегда наши опыты и наблюдения отрывочны и непостоянны; связь и порядок мы вносим лишь по мере научной обработки опытного материала, фактически же мы наблюдаем отдельные разрозненные явления, которые служат для нас как бы вехами; уже потом мы объединяем единой непрерывной линией добытые нами данные и получаем таким образом кривую развития, которую мы можем изучать уже математически.

Конечно, возможность произвести всегда более детальное и более точное исследование в физике значительно облегчает дело: в этом экспериментировании и обнаруживается собственно плодотворность идеи непрерывности для физического опыта. Можно сделать любые ограничения и добавления к первоначально добытому. Все же это принципиально ничуть не меняет дела. Даже прерывные для нас явления могут приводиться в порядок, располагаться в один закономерный ряд нашим исследованием. Так Менделеев, располагая в своей таблице химические элементы по атомным весам, достиг весьма важных, даже поразительных, результатов. Почти так же и в статистике отдельные записи и регистрации располагаются по принципу непрерывности и, так расположенные, дают нам весьма показательную картину. Подобные примеры можно было бы умножить без конца.

Почти так же и многообразные военные опыты распадаются для нас, при чисто аналитическом их рассмотрении, на ряд частных случаев, но все же эти отдельные частные случаи могут объединяться одним непрерывным развитием, представляя отдельные фазы его.

Нет поэтому ничего удивительного, что лучшие теоретики военного дела пользовались именно этим методом при изучении военного опыта.

Так, из прошлой литературы можно указать на весьма примечательное во многих отношениях и выше упоминавшееся сочинение генерала Ланглуа „Уроки двух последних войн".

Генерал Ланглуа видел, как развитием техники огневого боя кажутся поколебленными самые основы тех принципов, которые он старался внушить своим ученикам. Говорили, что сила огня делает фронтальную атаку совершенно невозможной, хотели заменить кавалерию ездящей пехотой (кажется, некоторые хотят этого и сейчас), другие договаривались до того, что техника вообще может заменить человека, что так называемый моральный фактор совершенно аннулирован развитием техники. Против всех подобных попыток истолкования опыта русско-турецкой войны и войны англо-бурской Ланглуа возражает весьма основательно. Он показывает, что новые явления нужно рассматривать, как вполне закономерные продукты сил, известных уже ранее, что новый опыт не сполна и не во всем противоречит старому, что серия военных опытов, правильно расположенная, указывает на единую линию развития. Выводы Ланглуа в высшей степени ясны и с методологической стороны образцовы. В основу он кладет современную технику и следит за тем, как в зависимости от этого изменяется тактика; так он приходит к формулированию закона развития тактики. Последовательное улучшение огневого действия ружья увеличивает трудности фронтальной атаки и придает бо́льшую силу легким полевым прикрытиям; тем самым выдвигается требование атаки фланга или охвата, т.-е. развитие огневого действия ведет к развитию маневра. Прогрес артиллерии облегчает атаку как с фронта, так и с фланга.

Развитие огневого действия увеличивает трудности сближения и нащупывания врага. Фронт непрерывно растягивается, и здесь, таким образом, развитие огневого действия требует все увеличивающейся способности армии маневрировать, быть подвижной и отлично организованной. Развитие техники по-новому требует высокого развития моральных качеств человека и бойца.

Книга генерала Ланглуа как бы предчувствует и предугадывает многое из опыта Мировой войны. Изучая опыт двух войн, Ланглуа сумел констатировать в кажущемся хаосе ее закономерность; этого он достиг, главным, образом тем, что один из факторов развития техники принял верно за основной и определяющий. Следя за ее изменением, Ланглуа намечает тенденции развития тактики в будущем.

Подобному же методу следуют и лучшие книги, посвященные изучению Мировой войны, например, книга Балка „Развитие тактики в Мировую войну“ и книга Гаскуэна „Развитие артиллерии в Мировую войну“. Их авторы отлично сознают, что единственным средством упорядочить многообразие военного опыта является идея непрерывного развития.

Только эта идея дает основание и возможность правильно подойти к явлениям. В самом деле, военный опыт вовсе не дробится при анализе его на многочисленные, ничем друг с другом не связанные, частные случаи, как это представляется Лорингофену. На самом деле эти частные случаи все же в конце концов относятся к одному и тому же опыту, который их всех включает и обусловливает; они связаны друг с другом закономерно, они представляют лишь стадии единого по существу развития.

Изучение Мировой войны показывает с полной очевидностью, что те новые формы, которые принимала война, возникли отнюдь не случайно, а были предопределены и обусловлены, с одной стороны, прежним военным опытом, а с другой — теориями, его резюмирующими. В основу действия воюющих сторон был положен определенный план, обдуманный порой тщательно. Но предположения, не вызывавшие сомнений (немцы, например, думали, что они находятся в обладании рецепта победы) [1] и проведенные в жизнь прямолинейно и последовательно, не оправдали себя; в то же время они обнаружили новые стороны многих явлений, которые игнорировались или были ранее неизвестны; с ними стали считаться, принимать во внимание, их стали класть в основу новых гипотез, предположений и планов, которые,

[1] Смотри книгу Хессе „Der Feldherr Psychologus“. Описание битвы при Гумбинине. В остальном мало ценная книга.

опять-таки проведенные в жизнь, оказались не вполне соответствующими требованиям действительности. В особенности в начале войны представляли себе во многом смутно значение сил технических и социальных; последний период войны (1917 — 1918 г.г.) явно протекает под их доминирующим влиянием; но приходится признать, что и последний период Мировой войны и ее исход (война Гражданская) только наметили новые проблемы, а отнюдь не разрешили их.

Идея непрерывного развития, таким образом, оказывается максимально оформляющей; располагая явления в ряд, она позволяет открыть закон этого ряда, т.-е. она позволяет познать законосообразность самих явлений, которые иначе должны превратиться для рассматривающего ума в хаотическую и не связанную ни с чем смесь отдельных частных событий.

Здесь приходится указать, что идея непрерывного развития, как она прилагается к опыту Мировой войны, оказывается во многом двусмысленной, она имеет два лика, как римский бог Янус: непрерывность истолковывается в двух противоположных смыслах. В качестве весьма показательных примеров можно привести уже упомянутых авторов: Балка и Гаскуэна.

Если прочесть внимательно Балка, то приходишь к заключению, что своей идеей развития Балк хочет оправдать и подтвердить прежние свои мысли и обобщения.

Хотя Мировая война и „произвела огромный переворот“ (Балк — „Развитие тактики“. Предисловие) и „нынешние воззрения“ весьма мало сходствуют с взглядами, существовавшими к началу Мировой войны, тем не менее война лишь доказала правоту Балка.

„С первого издания моей книги по тактике, — пишет Балк,—я проводил мысль о признании за техникой и психологией более высокого значения в деле управления войсками.

Мировая война подтвердила необходимость этого. Моя работа по тактике устанавливала точку зрения на тактические понятия во всех больших военных государствах перед Мировой войной и потому продолжает, вероятно, иметь цену и для всяких вообще жизненных вопросов в этой

области. Мировая война произвела огромный переворот: она доказала значение для современных армий, „вооруженного народа“, боя с целью прорыва в равной степени с охватом.

„Я уже раньше указывал на неизбежную необходимость боя на прорыв, хотя прекрасно знал, что бой с охватом дает более значительные результаты, а равно и протекает безусловно легче.

„Мне было известно, что в этом вопросе я находился в противоречии с влиятельными военными кругами, но я никогда не оспаривал выгод боя с охватом, а лишь выдвигал необходимость практиковаться и в боях, имеющих своей целью прорыв.

„Мировая война доказала мою правоту“.

И в дальнейшем Балк проводит ту же мысль: „хотя Мировая война и была для нас неожиданностью, мы не складывали оружия, мы подчиняли себе обстоятельства, сумели их утилизировать“ (стр. 27).

И все это, конечно, потому, что немецкая армия была правильно подготовлена и правильно воспитана; она руководилась правильными тактическими понятиями, которые перешли ей в плоть и кровь. Целью всего сочинения поэтому является задача „показать, как возникла нынешняя германская тактика, как она при хорошем обучении в мирное время способна пойти навстречу все возрастающим по трудности боевым требованиям“.

Мировая война, таким образом, не внесла по существу качественно ничего нового, она лишь развила и подчеркнула то, что было так или иначе намечено и сознано раньше. Учение Балка, автора многотомного труда по тактике, в общем и целом должно быть удержано; даже более того, дух и смысл этого учения именно и приводили постоянно к тактическим успехам на всех фронтах Мировой войны. Опыт Мировой войны дает лишь развитие, лишь видоизменение и в то же время подтверждение этих истинных формулированных Балком начал, которые поэтому нужно удержать. Нужно держаться старого, уже известного и установленного, — таков вывод, который, правда, Балк не делает, но который сам возникает у читателя под влиянием суждений автора.

Во всяком случае обвинять немецкую тактику в чем-либо совершенно не приходится. „Если война не могла кончиться победой на поле брани, то это в действительности не вина войск и их вождей“.

„Нашей армии был нанесен смертельный удар в спину, и она погибла, как некогда погиб непобедимый герой Зигфрид от руки легендарного Гагена...

„...Если мы зададимся целью найти виновников нашего несчастия, нашей гибели, то таковых надо искать не в рядах армии, но среди руководителей нашей политики, среди людей, ставивших достижение собственных интересов выше благ всей Германии. Наивысшие успехи были нами достигнуты в неприятельской стране“... (Заключение).

Непрерывность, таким образом, у Балка сводит новое к старому. Балк скорее подчеркивает тождество в изменчивости, чем акцентирует самую изменчивость. Нельзя не видеть поэтому явного апологетического смысла всей книги.

Немецкие армии воевали не только доблестно, но и правильно, нельзя ни в чем упрекнуть их руководителей; если ошибки и были, то они не существенны и не касались собственно доктрины. Немецкая тактика выдержала испытание в огне, немцам удавалось сделать то, чего никогда не могли совершить союзники.

Сама по себе книга Балка, если отвлечься от этих ее тенденций, едва ли выдерживающих критику, написана мастерски; автор связывает и легко упорядочивает грандиозный материал, всегда им великолепно проработанный и зарегистрированный, но только он располагает свою идею развития так, что направление этого развития повернуто им не вперед, а назад; Балк словно не видит, что развитие приводит и к новому, у Балка нет никакого указания на тенденцию развития. В этом смысле проведение идеи непрерывности у Балка весьма односторонне.

Этим недостатком ни в коей мере не страдает книга Гаскуэна. Идея непрерывного развития не только соединяет новое со старым, в той же мере у Гаскуэна непрерывность является принципом динамическим, ведущим вперед.

Гаскуэн не апологет, он критик. Несмотря на то, что французы победили, они наделали массу ошибок, они не сумели использовать, как следует, свои, порой прекрасные,

технические средства. Люди не умели обслуживать орудия и далеко не всегда находили правильное решение, диктуемое обстоятельствами.

„Настоящая работа имеет главною целью,—пишет Гаскуэн,—ознакомить общество со сделанными наблюдениями, пережитыми событиями... и подвергнуть их обсуждению. Здесь найдут ясно формулированную критику, доктрины, принципов, организации, но только не личностей... Кто из нас может похвалиться, что непогрешимо вел войну, столь сложную и отличную от прошлых войн?“

Этим заданиям Гаскуэн остается верен. Как наиболее существенные стороны дела, так и многие детали ускользнули от внимания руководителей у французов или игнорировались ими. [1] Известный консерватизм и рутина были присущи главным руководителям. „С самого начала войны в ставке дошли до того, что стали страшиться новых мыслей... В 1915 году некоторое время было даже запрещено фронтовым офицерам заниматься чем либо другим кроме специальных, касающихся их повседневной работы, вопросов. Между тем, высшее командование не должно было осуждать эти новые мысли, а, наоборот, скорее благословлять проявление их, отдав на рассмотрение и изучение людей знающих и просвещенных, и проводить их в жизнь, если эти мысли заслуживают того“ (Эвол. арт., стр. 131).

В результате своего анализа Гаскуэн ясно показывает ошибочность позиций французской военной мысли до войны и в то же время намечает задачи будущего: „обеспечить сильным огневым могуществом, как на ближних, так и на дальних дистанциях, большое число немногочисленных, но прекрасно вооруженных частей“ (140).

Гаскуэн, таким образом, пользуясь идеей развития, намечает дальнейшие тенденции, которые вытекают из опыта Мировой войны. У него идея непрерывного развития обращена вперед, а не назад, новое возникает закономерно, в современном нам военном опыте мы должны узреть опыт будущего.

[1] В особенности это касается тяжелой артиллерии, которую французы могли бы иметь, если бы правильно использовали имеющиеся у них средства.

Спрашивается, можно ли остаться при одной лишь непрерывности, не принуждены ли мы сделать дальнейший шаг вперед и углубить непрерывность, во многом действительно облегчающую нам возможность разобраться в военном опыте,—диалектикой?

Непрерывность очень удобный метод при ретроспективном обозрении событий, когда мы оглядываемся на пройденный путь и объединяем и подытоживаем прошлый опыт, тогда он нами зрится, как единый и целостный, мы различаем в нем стадии и фазы, различные и противоположные даже, но все же уже приведенные к гармонии, лишенные жала противоречия и внутреннего противоборства.

Но мы ведь не только рассматриваем военный опыт, но и находимся в нем, в его потоке, в его развитии. Тогда новое, возникающее, рисуется нам прежде всего как антипод, как отрицание прошлого, отмирающего, мы находимся в самом центре столкновения „да“ и „нет“, в моменте кризиса. Тогда непрерывность ощущается нами как слишком благополучная схема, мы сознаем ярко „катастрофичность“ опыта, непосредственно переживаемого.

В моменты больших кризисов на войне непрерывность может привести ко многим ложным решениям, во всяком случае подсказать их. Раз мой план, принятый первоначально, при своем проведении в жизнь наталкивается на большие затруднения, я вовсе не должен все же отказаться от него; не лучше ли, раз того требуют обстоятельства, лишь изменить его, хотя бы предоставив инициативу отдельным командирам, которые на месте видят, что исполнимо и что неисполнимо в общем задании, что может иметь успех и что поведет лишь к напрасной трате человеческих жизней.

Книга Балка изобилует подобными примерами, как немецкая тактика приспособлялась и видоизменялась под влиянием нового опыта, своих и чужих уроков, новых условий, новой обстановки.

Разберем два частные случая, могущих иллюстрировать положение, что действительно мысль военачальника не может быть только непрерывной, что она должна быть диалектической, действительно идущей до предела.

Как известно, немцы вступили в войну, одушевленные идеями „Канн“ Шлиффена. План Шлиффена требовал охвата

противника с флангов. В Мировую войну „Канны“ удавались очень редко и осуществлялись главным образом на русском фронте. Тем не менее немцы до конца не отказались от этой основной идеи. Если нельзя окружить противника, то все же иными средствами можно добиться той же цели — „решительной победы“, которая сломила бы моральные и материальные силы противника. Современная техника, правильно примененная, дает возможности широкого прорыва вражеского фронта. И вот в 18 году Людендорф пытается осуществить все ту же идею „Канн“, обрушивается превосходными силами на стык армий французской и английской, разрывает фронт и доходит почти до Амьена. В этой операции Балк видит справедливо „эволюцию“ германской тактики. Прием Людендорфа только вариант, только видоизменение первоначально известного, установленного. Но, спрашивается, не в этом ли как раз и ошибка Людендорфа? Не является ли идея окончательного сокрушения врага в начале четвертого года войны, с уже истощенными силами и с голодающей страной в тылу, чистейшей утопией, по существу невозможной и неисполнимой?

Людендорф не смог радикально порвать с укоренившимися взглядами, немецкое командование не отличалось гибкостью и подвижностью мысли. Справедливо по этому иронизирует над ним маршал Фош. Метод непрерывной эволюции здесь оказался недостаточным, более смелая мысль, включающая отказ от прошлого, была бы более спасительной для немцев, во всяком случае она не истощила бы их силы в ряде первых побед, приводивших к окончательному поражению и капитуляции. Диалектика, которой была лишена мысль германских генералов, осуществилась в действительности: победа перешла в поражение.

Другой пример можно заимствовать из деятельности союзников. В своей весьма любопытной, очень ярко и местами негодующе написанной книге „Верховный Военный Совет“, Райт показывает, как в самом начале у союзников встала проблема объединения их армий, но по вполне понятным причинам она не получила разрешения. Наконец, поражения итальянцев заставили приступить к организации высшего военного совета. Но учреждение этого совета, конечно, не означало еще окончательного объединения командования.

Это было скорее лишь шагом и ступенью к нему. Понадобился разгром англичан при Сен-Кантене, чтоб действительно командование объединилось в руках Фоша. И тут, как мы видим, наблюдается некоторое постепенное развитие. Эта постепенность обусловила два тяжелые поражения итальянской и английской армий. Более решительная мысль Фоша требовала с самого начала отказа от этой постепенности, этой непрерывности и эволюции.

Метод эволюции далеко не всегда является целесообразным, в критические периоды он явно не удовлетворяет, тут нужна более последовательная и напряженная работа мысли.

2.

Метод непрерывности играет, как мы видим, весьма существенную роль при попытках объединять военный опыт, постоянно изменяющийся и развивающийся. Военные теоретики пользуются методом непрерывности в особенности при историческом анализе. Но нас должно интересовать применение этого метода не только при кабинетной работе, подводящей итог тому или иному историческому опыту,—в гораздо большей степени здесь надлежит пересмотреть роль и значение этого метода в непосредственной работе военной мысли на самом поле сражения, во время самого протекания той или иной военной операции или боевого столкновения, необходимо проследить значение непрерывности в стратегической, оперативной и тактической мысли. Крайне любопытно отметить, что сама проблема в ее современной постановке является тождественной как в стратегии, так и в тактике, меняется лишь масштаб, а не сущность вопроса. Мы приходим таким образом к одному из самых сложных трудных отделов нашего исследования. Эти трудности не могут быть затушеваны, напротив, они должны быть вскрыты изложением. Здесь следует добиться большей ясности, ибо как-раз в этом пункте заостряется существующий кризис военной мысли. Здесь новая практика ведения военного действия сталкивается со старой.

Если мы обратимся к старым руководствам по военному делу, т.-е. к руководствам, вышедшим до Мировой войны, то мы должны будем констатировать у них полное доверие

в силу принципа непрерывности; единый план действия, преследующий единую цель—развертывание действий в одном направлении, что поэтому легко можно представить символически в виде одной прямой линии, порядок военных действий, моменты, которые вытекают один из другого,—вот что наиболее характеризовало метод военной мысли до Мировой войны. Это сказывалось как в методах планирования, так и в методах решения тех или иных тактических задач.

В настоящее время мы видим резкое изменение этого метода. Непрерывность постоянно нарушалась втечение последней Мировой войны; военные события этой войны нельзя расположить в единый последовательный ряд. Цель, первоначально поставленная, не достигалась. Возникал и оперативный и тактический перерыв в военных событиях. Некоторые писатели уже до Мировой войны предвидели, что подобные перерывы возникают не по бездарности того или иного вождя или по неумелости бойцов, решающих ту или иную тактическую задачу, а в силу сложившихся обстоятельств, благодаря которым нельзя сразу победить ни в масштабе театра войны, ни в масштабе определенного поля сражения.

Говорят, что генерал Шлиффен во время разбора одной из больших военных игр, в которой принимали участие виднейшие впоследствии деятели германской армии в Мировую войну, сказал: „Нельзя войну вести так, как то было в Манчжурии, т.-е. гнать медленно противника от одной позиции до другой, месяцами лежать друг против друга в бездействии, пока, наконец, оба измученные противника не решат заключить мира. Нужно в возможно скорейший срок разделаться с одним противником, чтобы иметь свободные руки для действий против другого. Там, в Манчжурии, возможно было лежать месяцами друг против друга на неприступных позициях. В Западной Европе нельзя позволить себе подобную роскошь в ведении войны. Машина, имеющая тысячу колес, требующая для своего содержания миллионы, не может долго стоять в бездействии“. (Н. Капустин. „Возможность позиционной войны в будущем“. „Война и Революция“, 1926 г., книга 4, стр. 33).

Так думал не только генерал Шлиффен—таков был взгляд идейных верхов и французских и русских армий. Уроки

манчжурской войны не были использованы перед Мировой войной. На самом же деле в Мировую войну враждебные армии лежали друг против друга не месяцами, а годами.

Любопытно, что японский генеральный штаб правильней других сделал вывод из опыта манчжурской войны, касающийся продолжительности боевых столкновений. В наставлении, написанном на основании опыта войны 1904—5 г.г., говорится: „В боях будущего время пребывание противника друг против друга, даже в полевой войне, сделается много продолжительнее. Нельзя победить сразу“.

Благодаря этому неверному расчету как германцы, так и французы не только теряли безрезультатно весьма много средств и бойцов, но также не могли выбиться из того тупика, в который они зашли. Так называемая позиционная война длилась чрезмерно долго.

Многие полагают, что позиционная война является вообще типической для современного ведения как наступления, так и обороны. Средства сопротивления возросли в весьма большом размере; для того, чтобы их уничтожить, хотя бы на небольшом участке, требуется затрачивать весьма большие технические усилия, которые требуют большого времени для своей установки и приведения в действие. После того, как противник отогнан от одной позиции, приходится переходить к другой, строить военную фабрику, что опять потребует много времени, много средств. Война при современном состоянии технических средств в силу необходимости является войной позиционной.

„Наступление,—пишет Кюльман в своей „Стратегии“ (Кюльман. „Стратегия“, 1926 г., стр. 61),—даже самое решительное, никогда не состоит в непрерывном движении вперед; во все времена стратегические операции прерывались либо из-за плохого времени года, либо по причинам дипломатическим и военным. В настоящее время причины остановок гораздо более многочисленны, потому что современный бой, длительный и трудный, быстро истощает моральные силы и, в особенности, материальную часть (боеприпасы и т. д.); одновременно сильно изнашивается вооружение“.

Восстановление запасов, боеприпасов и обновление вооружения требует времени и связаны с промышленным производством, а в последней области существуют категориче-

ские требования. Потребуется столько-то недель, чтобы выработать такое-то количество снарядов и пушечных стволов в то время, как для восстановления живых сил армии достаточно бывает нескольких дней отдыха. И ввиде общего вывода, Кюльман приходит к заключению: „В связи с развитием материальной части уменьшалась маневренная способность современных крупных военных соединений“ (стр. 63). Однако, против такого мнения можно возражать как с общих точек зрения, так и путем ссылки на последний период войны. Нельзя односторонне утверждать, что развитие технических средств может уменьшить маневренность армии. Подобное утверждение явно ошибочно. В то же время развитие техники максимально увеличивает маневренные возможности.

Уже в 70—71 г.г. железные дороги сыграли значительную роль; об автомобильном транспорте в Мировую войну сложились целые легенды (спасение Парижа благодаря таксомоторам). Наконец, танки и аэропланы с небывалой силой увеличивали подвижность армий. Можно сказать: напротив, развитие техники увеличивает при правильном пользовании техникой маневренность армии. Правда, если техникой армия не овладела, то всевозможные технические сооружения становятся для нее лишней обузой—они лишь затрудняют ее движение: современная армия требует хорошей организации и четкой работы всех частей. Без этого она гибнет в силу внутренней неповоротливости.

С одним можно согласиться—маневр в старом смысле слова отмирает; ныне маневренность обозначает, главным образом, уменье пользоваться резервами, большое чувство ритма борьбы, целесообразное распределение сил и не менее целесообразное их нацеливание.

Но не только эти общие соображения говорят против позиционной войны.

Самые факты последнего периода Мировой войны противоречат этому. Мировая война окончилась без окопов, без проволоки. 18 год дает нам вновь маневренную войну. Эта новая маневренная, война однако вылилась в формы, очень мало схожие с тем, что явилось характерным для маневренной войны в старом понимании этого термина. Тогда полную силу имело правило: „порыв не знает перерыва“, теперь (в 18 г.) как раз умение распределять перерывы, ставшие неизбежными и необходимыми, и являлось залогом успеха.

Непрерывность военных действий в настоящее время не может пониматься столь упрощенно, как раньше. Метод непрерывности остается, но он углубляется и осложняется прерывностью.

В выше цитированной работе Люка („Эволюция тактических идей во Франции и Германии во время войн 1914—18 г.г.“) путем пристального изучения различных инструкций, выпущенных как французским, так и немецким главным командованием, дается вполне исчерпывающая характеристика борьбы методов непрерываемости и прерываемости. Довоенные доктрины в Германии и во Франции были приблизительно одинаковы: в почете была доктрина наступательная, но у немцев она была более продуманной и систематизированной. При одностороннем культе наступления значение боя возрастало, бой должен был иметь решающее значение. Следовательно, к месту сражения необходимо стянуть все свободные наличные силы, чтобы действовать сразу одним ударом. „Было бы ошибкой сосредоточивать все свои силы для какой-либо иной цели, кроме решительного боя. Для этого боя никогда нельзя считать себя слишком сильным; необходимо стягивать к полю сражения все силы до последнего солдата“—так говорили немцы. (Люка, цитированный труд, стр. 15). Французы могли бы с этим вполне согласиться, но они делали некоторые незначительные отступления вроде: „Бои будут затягиваться на несколько дней“. „Для крупных войсковых соединений достижение значительных результатов в редких случаях будет возможным с первого же удара“.

Эта доктрина ни в коей мере не оправдалась. На место быстрого окончания войны французы увидели себя перед непрерывным хорошо укрепленным фронтом противника. Им приходилось новыми средствами искать выхода из положения. „Французская тяжелая артиллерия была малочисленна и недальнобойна, что не позволяло производить разрушения сразу всей неприятельской укрепленной позиции. Приходилось производить последовательные атаки с перерывами (курсив мой), втечение которых артиллерия переносила огонь по новым целям, либо меняла свои позиции“. Этот способ действий давал возможность немцам оправляться, переходить в наступление и восстанавливать положение.

Люка в следующих словах формулирует создавшееся положение. „Французам пришлось согласовать два противоречивых требования — неизбежность перерывов и необходимость действовать быстро, чтобы не давать неприятелю оправляться. До самого конца Мировой войны мы будем свидетелями борьбы между сторонниками атак последовательных, методических, и атак без перерывов сильных и грубых. В 1915 году методичность в подготовке атаки признается всеми, что касается ее исполнения, то продолжается борьба двух течений — методичности и быстроты. В этих спорах порядок и методичность атаки определенно берут верх над быстротой и непрерывностью".

В 16 году мы видим торжество принципа методичности, как называет Люка, над непрерывностью. „Вечером 24 февраля 1916 года дорога на Верден была совсем свободна, но немецкие части, согласно заранее отданным приказаниям, остановились" (стр. 44). „Ту же ошибку мы видим и у французов в сражении на Сомме. И здесь методичность командования заставляла остановиться у намеченного рубежа часто победоносные войска, не давала им возможности использовать успех".

„Вечером 4 июля первый французский кавалерийский корпус уже не имел перед собой ничего существенного. Но так как французская пехота не имела права перейти указанных ей рубежей, то вперед была брошена одна конница" (стр. 46).

В 17 году ген. Нивель вновь вводит в свои предположения быстроту и непрерывность исполнения. По замыслу Нивеля путем грубой и быстрой операции прорыва фронта надлежало достигнуть в 24 или 48 часов, после чего отважно использовать успех перед собой и на флангах.

Во многом творческие и правильные замыслы ген. Нивеля, однако, не осуществились. Наступление французам обошлось чрезвычайно дорого, во французской армии началось разложение. Нивель плохо учел, что самая оборона теперь значительно изменилась, она стала гораздо более гибкой и глубокой.

Во второй половине 17 года вновь методичность одерживает верх над быстротой и непрерывностью действий. В директивах и инструкциях от 31 октября и 20 декабря 17 года

союзные армии получают определенные указания. При наступательных движениях с ограниченной целью пехота не должна выходить за полосу, поражаемой своей артиллерией. Мельчайшие действия бойцов должны быть упорядочены. Согласно этим новым инструкциям бой должен состоять из ряда последовательных атак, тщательно подготовляемых артиллерией, имеющих заранее намеченные цели, вместо того, чтобы слагаться из этапов, границы которых определяются сами собой, когда противник остановит атаку.

В 18 году мы видим опять резкие изменения в понимании и оценке непрерывности в развитии операций и боя. Этому благоприятствовало коренное изменение обстановки 18 года; пришлось вернуться к полевой войне.

По Людендорфу, быстрота и непрерывность действий будет достигнута тем, что атака пехоты, раз начатая, должна развиваться возможно быстрее и как можно глубже вперед без остановок.

Артиллерийская система противника должна быть при этом целиком нарушена, поэтому атака должна распространяться на глубину до 8 *км*, продвигаясь до позиции артиллерии противника. „Командование должно особенно заботиться о том: 1) чтобы экономить пехоту, 2) вводить резервы в нужный момент боя только там, где обозначилось продвижение вперед, 3) восстановлять постоянно резервы во время самого боя, 4) продвигаться постоянно вперед и, отбивая контр-атаки противника, следить за тем, чтобы движение вперед сейчас же возобновлялось". По мнению Людендорфа, нечего бояться контр-атак противника, если только постоянно сохранять принцип эшелонирования в глубину.

То же самое мы видим по существу и в действиях французов; разница лишь в том, что Людендорфу в конце концов не удавалось рассчитать, как следует, необходимые резервы. Поэтому его атаки преждевременно выдыхаются. Во-вторых, его наступления прерываются слишком долгими паузами. Французы в полной мере сознали, что резервы должны быть приближены, чтобы обеспечить непрерывность усилий, во-вторых, следует как можно более укоротить неизбежные перерывы. Таким образом снова восстанавливается непрерывность, но совершенно по иному. Люка резюмирует так этот долгий и сложный опыт: „Борьба между методи-

ческим и быстрым выполнением длилась втечение трех с половиной лет и не закончилась". Приблизительные выводы могут быть сформулированы так: „методичность должна преобладать над быстротой при боевых действиях внутри укрепленных позиций и, если смотреть более широко, во время всякой операции, когда ею руководит высшее командование. В период же использования успеха, когда инициатива исполнителей играет решительную роль, методичность должна уступить место быстроте действий, но при условии, чтобы всегда сохранялся должный порядок и чтобы встречаемые пехотой препятствия устранялись без потери времени". (Люка, стр. 83).

Этот вывод является действительно только приблизительным. В конце концов он не дает ответа на поставленный вопрос. При ведении военных действий нельзя отказаться от непрерывности в то время, как эта непрерывность постоянно прерывается различными остановками; следовательно, необходимо понять ритм военных действий, овладеть этим ритмом, понять непрерывность и прерываемость, как моменты одного целого акта, словом, непрерывность истолковать диалектически.

Клаузевиц в главе „Остановка в течении войны" дал классическое выражение этой неизбежной диалектике:

„Если смотреть на войну, как на действие взаимного истребления, то приходится вообразить себе обе стороны наступающими вообще, но вместе с тем в каждую данную минуту придется точно так же непременно вообразить себе одну выжидающей только и другую наступающей, потому что обстановка, среди коей действуют обе стороны, не может быть для каждой из них совершенно одинаково благоприятной или же по крайней мере долго оставаться таковой. Со временем явится перемена, а потому именно настоящая минута более выгодна для одного, нежели для другого. Если же у обоих полководцев, предположим, полное сознание обстоятельств, то последнее побуждает одного к деятельности, а другого одновременно к выжиданию".

В русской военной литературе проф. Свечин в своей работе „Стратегия" обратил внимание на этот существеннейший вопрос. В этом его несомненная заслуга. Проблему перерыва в военных действиях проф. Свечин ставит в связь с современной перманентной мобилизацией, которая нарастает постепенно и совершенно изменяет понимание обороны и наступления.

Кульминационное напряжение военной мощи государства может приттись не к началу задуманной операции, а к ее концу. Это может существенным образом изменить расчеты. „Для наступающей операции, которая намечена накоротке и будет закончена в две недели, можно обойтись значительно меньшим численным превосходством, чем тот перевес, который требуется для 4—6-недельной операции, где разница между настоящим наступающаго и будущим обороняющагося возрастает непомерно. (Стратегические и операционные этюды в сборнике Военной Академии РККА имени М. В. Фрунзе, книга I, Москва 1926 г.).

Однако в то же время этот пункт является и слабым местом интересного труда проф. Свечина. Совершенно правильно в своей рецензии на „Стратегию" проф. Свечина, профессор Снесарев отмечает, что процесс непрерывности у А. А. Свечина отступает на второй план; нельзя допустить, что на войне усилия идут скачками через ряд операций, прерываемых какими-то пробелами, своего рода стратегическим отдыхом или стратегическим безделием. Совершенно правильно проф. Снесарев думает, что стратегии так же, как операции или бою, свойственна непрерывность направлений. „Философски нельзя мыслить себе стратегию, понимая под таковой специальный вид людской деятельности, как напряжение с перерывами..... Непрерывность усилий и вместе с этим и единство стратегии будут тогда лишь возрастать, если „операции" придать более уширенный смысл; тогда промежутки между операциями не будут провалами, а лишь какими-то другими операциями, в которых стратегии—работать не мечом, а другими средствами". („Война и Революция" 1926 г., № 4).

Из разбора этих воззрений теоретиков современного военного дела совершенно ясно обнаруживается, что обычные методы оперативного и тактического мышления под влиянием нового опыта подлежат расширению и углублению. Нельзя отказаться от непрерывности военного мышления, но в то же время необходимо согласовать эту непрерывность с прерывностью, о чем так красноречиво гокорил в свое время Клаузевиц. Этим самым мы подходим вплотную к нашей основной теме—к диалектике в военном деле.

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД.

1.

Военный опыт XIX века, главным образом войн, которые вели германцы в 1866 г. и 1870 году, приучил к весьма простым и весьма несложным концепциям войны. Первоначальный план в конце концов решает все, — если он правильно рассчитан, если сил достаточно, если войска хорошо обучены, а командиры на высоте требований, то совершенно необходимо в конце кампании будет Кениггрец, Седан, Мец. Война ведется, так сказать, одним актом, одним ударом решающим; это собственно одно действие, исполнение одного основного решения. Как бы военные действия ни дробились на частные столкновения, битвы, маневры, наступления, осады и пр., все это лишь моменты и части единой по существу и по замыслу драмы; все, что следует за сим, когда основная и решительная цель достигнута, — лишь подробности, которые, конечно, могут затянуть мирные переговоры, но которые мало в существенном изменяют положение воюющих сторон.

Исход франко-прусской войны определился совершенно ясно уже в первый месяц. Все остальное лишь несколько затянувшийся конец.

Можно спросить себя, является ли подобный ход и развитие событий типичным и подобное представление о войне соответствующим природе войны, или, напротив, только в редких случаях, в крайне счастливых и удачно ведомых войнах, мы наблюдаем успех, достигнутый так быстро и просто? В войнах 1866 г. и 1870 года нет „крайности", нет предельных состояний ясно выраженных (ибо в скрытой форме они, конечно, налицо), нет „кризисов", переломов в полном значении этого слова, нет того, что на латинском языке называется discrimen, нет „узлов" в линии борющихся сил.

Нужно заметить, что упрощенные схемы войны, созданные под влиянием блистательных успехов немцев, ослепили многих теоретиков военного дела. До Мировой войны было распространено мнение, что будущая война будет очень кратковременной, так сказать, молниеносным кризисом, долженствующим разрядить политическую атмосферу, и что иной она быть не может, иначе неминуема всеобщая катастрофа, иначе „общество" должно погибнуть.

Война не оправдала этих предположений, слишком оптимистических. Ныне нам, имеющим позади себя опыт четырехлетней империалистической войны и трехлетней гражданской, непосредственно за ней последовавшей, совершенно иначе представляется ход и последовательность войны. Природа войны вовсе не укладывается в подобную благополучную схему. Войны 1866 г. и 1870 года являются всего менее показательными. Напротив, для войны всегда характерны именно кризисы, известные поворотные пункты, вовсе не одно решение лежит в основе ее, а целый ряд все новых и новых решений, столь же трудных и столь же ответственных, как и первое.

В этом смысле совершенно правильно говорит Клаузевиц, что война никогда не бывает актом отдельным и не сводится к единому мгновенному удару. Напротив, война решается несколькими последовательными действиями. Не все средства, подготовленные к борьбе, могут быть выставлены разом и единовременно употреблены в дело. Все эти средства разнообразны и многочисленны, здесь приходится считаться не только с боевыми силами, но также иметь в виду „всю страну с ее просторами и населением и тактику союзников".

Эти соображения Клаузевица получили свое подтверждение в Мировую войну так же, как и в Гражданскую. В настоящее время мы имеем дело с единовременной и перманентной мобилизацией, все новые силы поставляет страна для войны не только в смысле человеческих масс, но также в смысле всевозможных технических средств, которые доставляет промышленность страны, поставленная на военные рельсы. Поэтому война движется от этапа к этапу, война развивается, страна постепенно милитаризируется. Война затрагивает постепенно все новые и новые стороны жизни народа. Те силы, которые дремали в стране, пробуждаются

во время войны. Оттого так и трудно заранее рассчитать в войне, что страна может дать и чего от нее потребовать можно. Зачастую здесь обычные статистические методы терпят крах. В первые месяцы Мировой войны никто не мог бы создать финансовый план войны на четыре года вперед. Главная причина этого в том, что военные события существеннейшим образом изменяют условия, которые существовали при самом возникновении войны, весь обиход мирного времени нарушен, занятия людей, промышленность, пути сообщения втягиваются в орбиту войны. Различные социальные группы терпят изменения в количественном и качественном составе. Одни разоряются, другие стремительно обогащаются, самые разнообразные изменения совершаются в социальной структуре страны.

Благодаря изменившимся условиям, сама война не может остаться той же, что и при ее возникновении, и она претерпевает ряд существенных изменений, которые, развиваясь до конца, приводят от одной противоположности к другой. Конечно, бывают войны, которые не укладываются в эту схему, ведь война зачастую прекращается прежде, чем она достигла своего естественного развития. Одни из противников прекращают сопротивление по тем или иным причинам, или наступающие ставят себе весьма ограниченные цели и не доводят дела до решительного столкновения.

Войны могут принимать самый различный облик и форму, и тем не менее можно говорить о самом законе войны, об той тенденции, которую имеют все войны. Войну в этом смысле можно мыслить себе только как интенсивный процесс, который проходит ряд фаз, вплоть до предела.

Интенсивность присуща войне по ее природе; раз это так, то здесь имеет обязательную силу переход количества в качество. Война не просто длится во времени, качественно не изменяясь,—ее продолжительность существенным образом влияет на характер войны. Этот диалектический закон перехода количества в качество при военных действиях имеет определенное значение. Всякая война слишком много истрачивает сил, которые могли ее питать вначале, с другой стороны она пробуждает силы новые, которые ей дают средства для новой борьбы. Так, например, Наполеон и его правительство существовали на счет войн, которые, конечно,

сами обходились довольно дорого. Наполеоновские войны издавна служили ярким примером, как война могучим актом своего насилия разбивала старый порядок в Европе, не изжившей еще до конца остатков феодального строя, и насаждала порядки новые, согласные с кодексом Наполеона, т. е. порядок буржуазный. Самым ярким примером такого перехода войны из одной фазы в другую может служить Гражданская война в России, которая возникла из крушения империалистической армии и длилась три с лишним года на самых различных фронтах, при самой различной обстановке. Казалось бы, что после трех лет империалистической войны народные массы могли бы устать от войны, но на самом деле мы видим обратное. Советское правительство сумело по новому организовать массы в эпоху военного коммунизма, весьма деятельно и энергично провести Гражданскую войну.

Во время революции выступили новые силы, которые не находили себе выхода при старом порядке, выдвинулись новые классы и социальные группы, начиная от организованных рабочих и кончая сибирскими партизанами, которые взяли на себя все тяготы Гражданской войны, протекавшей порою в чрезмерно тяжелых условиях, и довели эту борьбу до конца.

Войну в этом смысле всего лучше понимать по аналогии с революцией, которая является также интенсивнейшим процессом по существу. Подготовляя революцию и даже претворяя ее непосредственно в жизнь, очень трудно сказать определенно „что будет на другой день после революции“. Подобные попытки заранее обречены на неудачи, как явно утопические. Можно говорить и предвидеть только тенденции будущего развития, конкретные их осуществления всегда будут зависеть от тысячи условий, которые ни предвидеть ни предсказать, ни представить нельзя. Самый ход революции обнаружит, что необходимо сделать на том или ином этапе ее развития. Потребуется новое решение и новый акт воли. На революцию во всяком случае нельзя смотреть, как на взрыв стихийных сил, и только в этом видеть ее сущность. Революционная борьба завязывается обычно задолго до наступления „революции“, равным образом революция продолжается и тогда, когда старое правительство свергнуто и в стране власть принадлежит новому правительству. Ведь

в революции изменяются не только те или иные правительственные формы, но падает и старый социальный порядок, по новому размещаются социальные силы; более того, при удачной революции старый быт сменяется новым; революция с улицы переходит в жилища людей, революция революционизирует повседневный быт.

Словом, революция имеет многообразные и сложные последствия, предвидеть которые не сможет даже самая пылкая фантазия. И тем не менее это вовсе не значит, что нельзя „планировать" революцию, что революция есть чисто стихийный процесс. В этом смысле крайне любопытна теория о тактике—плане революции у Ленина, изложенная им в брошюре „Что делать". Ленин предвидел революцию, организовал революционные силы и осуществлял в своей тактике определенный план. Он ставил себе задачей не следовать пассивно за революционным течением, но стремился овладеть и руководить им. Это руководство мыслилось им, как ряд решений, сообразно с той или другой конкретно-революционной обстановкой. Эти решения должны быть самостоятельными и новыми актами ума и воли и в то же время они должны обусловливать и предполагать друг друга, чем осуществляется единство и последовательность тактики в революции и борьбе.

Можно рядом исторических примеров показать, что действительно войне принадлежит этот диалектический характер, что война должна мыслиться, как меняющийся в своих фазах процесс. Следует лишь вспомнить наиболее типичные войны, как древней, так и новой истории.

Наиболее интересным примером из старого мира является война Пелопонесская, которая интересна для нас также и в том отношении, что она во многом сходствует с недавней Мировой войной. Силы враждовавших сторон были настолько уравновешены, что ни Спартанцы, ни Афиняне в первоначальный свой план не включали быстрое сокрушение противника. Стратегия обеих сторон принимала вид борьбы на истощение. Спартанцы, более сильные в пехоте, разоряли каждый год Афинскую область, но не могли ничего сделать против больших городских стен, соединявших верхний город с Пирейскою гаванью; Афиняне, в свою очередь, изнуряли Пелопонессцев морскими набегами на побережье. Но

этот вид войны во втором периоде ее (после Никиева мира) сменился другим, когда Афиняне предприняли Сицилийскую экспедицию. Война приняла более интенсивный, ожесточенный характер; наряду с борьбой отдельных союзов между собою разгоралась борьба классовая в пределах каждой воюющей общины, в собственном стане и Афиняне и Спартанцы обретали внутреннего врага. Наконец, в войну была втянута и Персидская империя, которая снабдила Спартанцев и деньгами и флотом, и тем дала им возможность сломить Афины. Словом, Пелопонесская война вовсе не может быть представлена, как проведение и использование единого решения; мы видим в ней последовательное возникновение различных фаз, в силу необходимости противоположных.

Наиболее ярким примером из всего Нового времени являются войны Наполеона. Его стремительные победы в начале карьеры сменились во второй период его деятельности сначала полупобедами, а затем и поражениями. Однако, едва ли возможно говорить о закате гения Наполеона; скорее обратное, его план, решения и замыслы в 1813—1814 г.г. обнаруживают больше „гениальности, чем любая из былых, ранних кампаний". Не Наполеон изменился, изменились формы самой войны, развития которых Наполеон не предвидел и не угадал. Свои блестящие успехи Наполеон одерживал главным образом над армиями правительств, в то время как он сам стоял во главе армий, вышедших из революции. Наполеон мог действовать с большей решительностью, смелостью и неутомимостью и стремительностью, чем собравшиеся против него генералы, Наполеон одним ударом кончал кампании и валил с ног своего противника, которому оставалось только просить о быстром заключении мира. В книге Франца Меринга „Очерки по истории войны" („Красная Новь" 1924 г.) собрано достаточно любопытного материала, показывающего насколько передовые лица в Германии мало интересовались успехами и поражением Прусского оружия, насколько правительство было изолировано в этой борьбе против Наполеона.

Во втором периоде своей деятельности Наполеону пришлось вести войну при совершенно иных условиях. Население, которое раньше встречало французов с сочувствием, теперь смотрело на них, как на угнетателей. В самых различных частях Европы против Наполеона поднимались народные

восстания—в Испании и в Тироле, в России и в Пруссии. Сам Наполеон все более и более терял почву под ногами. В известном смысле правильно говорит Меринг: „Не союзные войска победили Наполеона, но сопротивление собственного народа погубило его. Было бы неправильно сказать, что Франция истратила все свои рессурсы; по сравнению с тем, что выставили прусские провинции, Франция могла бы выставить еще миллионы борцов. В распоряжении Наполеона за этот период ни разу не было более 300.000 человек, включая еще и войска, сражавшиеся в Испании, Италии, и даже национальную гвардию, употреблявшуюся для защиты крепостей. Если бы у него было на 100.000 или на 200.000 человек более, он несомненно одержал бы верх, но все его призывы и воззвания, в которых он сам указывал на пример Пруссии, не могли помочь ему. Без добровольного участия нации нельзя было создать войско из песка".

Наконец в этой связи следует указать и на недавнюю Мировую войну, которая во многом изменила наши взгляды и природу военного дела, которая во всяком случае привела к глубокому кризису военной мысли.

Мировая война в своем развитии опрокинула все расчеты и предположения, которые оказались иллюзорными. Мировая война протекла в самых разнообразных фазах, однако отнюдь не лишенных логической последовательности; она началась широкими маневренными операциями, уперлась в тупик позиционной войны и кончилась снова в открытом поле. Мировую войну ее историки любят изображать в форме эволюционной, ибо только так можно объединить ее разнообразное и богатое содержание. Однако гораздо скорее опыт Мировой войны может быть понят диалектически; во всяком случае он явно разрывает схему эволюции, что нам и пришлось констатировать в предыдущей главе.

Диалектика Мировой войны является тем более показательной, что никто сознательно эту диалектику не принял в руководство, за исключением тех, кто предвидел, что война национальная перейдет в войну гражданскую — и на этом предвидении строил свой расчет.

Диалектическое понимание природы военного дела вносит существенную поправку и обычную теорию разработки планов в тактике и стратегии.

Как войну в целом, так и отдельную операцию или даже бой нельзя вести без плана. План войны с тем или иным вариантами разрабатывается задолго до объявления войны. Обычное учение гласит, что существеннейшим образом план войны изменять нельзя. Он должен проводиться в жизнь путем самодеятельности частных начальников, которые могут, в зависимости от обстановки и условий, выбирать средства, но которые обязаны выполнить „задание", входящее в общий план, который следовательно остается неизменяемым, несмотря на ряд самостоятельных подходов и решений.

Эту неизменность плана войны следующим аргументом подкрепляет Кюльман в своей „Стратегии": „Политические причины войны имеют глубокое происхождение и известную определенность; только в случаях коренных изменений общеполитического положения страны могут измениться цели войны, и тогда подвергается изменению и самый план войны".

Оперативный план имеет также ряд твердых основ, мало изменяющихся, как-то: начертание границ, общий характер местности театра военных действий, главный противник; вместе с тем организация армии, вооружение, система оборонительных районов, существующие железные дороги, — все это не может быть сразу или в короткий срок резко изменено.

Таким образом, действительно продуманный оперативный план имеет значение на долгий период, его составление и поверка требуют очень продолжительной работы. Он не допускает решительных изменений, — его только приспособляют по мере эволюции его мало изменяющихся элементов. Последовательно назначаемые правительством главнокомандующие должны производить какие-либо изменения в установленном плане лишь с величайшей осторожностью, возможно меньше проявляя при этом свои личные взгляды. „Новый оперативный план может появиться только в результате новых целей войны". (Кюльман, „Стратегия", стр. 120).

Эти соображения Кюльмана во многом весьма основательны и имеют исторические корни. Так вел войну Мольтке. По его мнению, общие цели войны намечаются правительством, которое должно хорошо сознавать, чего собственно оно добивается. Генеральный штаб, на основах,

выработанных политикой, разрабатывает план операций и прежде всего намечает план развертывания войск и размещает их для удара. Когда войска развернулись и намечен план удара, остается лишь проводить в жизнь план, менять его не приходится. Это вызвало бы лишь большую путаницу и затянуло бы предварительный период войны, излишне измотало бы войска; к тому же совершать перегруппировки своих войск и непосредственной близости врага, который переходит к активным действиям, весьма опасно. Поэтому генеральный штаб может считать свое дело покончeнным. Частные начальники должны осуществить первоначально принятое решение. Высшее командование осуществляет управление путем общих директив, согласованием усилий и, главное, следит за тем, чтобы при осуществлении плана не было слишком резких от него отступлений.

Таково обычное учение. Оно справедливо в том отношении, что подчеркивает значение планового начала в военном деле. Эта плановость в настоящее время все более возрастает, поэтому и штабная работа, как в верхах армии, так и в ее низах усиливается. Планы сражений все более и более детально разрабатываются.

Однако, эта теория планирования вызывает и ряд возражений. Если план будет проводиться жестко до конца, то едва ли тактика получит нужную гибкость, едва ли в плане могут быть как следует учтены изменения в обстановке. Поэтому едва ли можно согласиться с вышеприведенными аргументами Кюльмана. Цель войны остается неизменной, говорит Кюльман, — это верно, но с той существенной оговоркой, что цели войны постепенно проясняются и фиксируются в процессе самой войны. Во всяком случае очень трудно даже в историческом труде точно установить какова была цель той или иной войны у обеих враждующих сторон. Цели осознаются постепенно в процессе самой борьбы. Точно также и цель боя может быть выяснена только в самом процессе боя, иначе необходимо придется впасть в тот ложный методизм, о котором говорилось в предыдущей главе. Военное дело знает планирование гораздо более оригинальное, чем обычные теории, именно, **учение о встречном бое дает яркий пример весьма своеобразного планирования при недостаточно определившейся и изменившейся обстановке.**

Встречный бой по самому существу не может протекать с той же планомерностью, как и борьба за укрепленную позицию. При встречном бое мы не знаем точно ни расположение противника, ни его намерения. Планирование обязательно и при встречном бое. Однако здесь план принимается только, как первоначальный исходный пункт для боя; в этот план будут внесены те или иные поправки, потребуются новые решения, которые отменят старые решения, но в то же время они сохраняются, ибо бой принимается на основе их.

По аналогии с планированием встречного боя может быть понято планирование в военном деле вообще. Здесь планирование служит основанием для дальнейшего планирования, принятое решение предполагает в дальнейшем принятие нового решения, которое в то же время является продолжением отмененного.

Это диалектическое понимание планирования проливает новый свет на вопрос управления войсками, в особенности во время боя. В современной нотовской литературе, разработавшей довольно исчерпывающе вопрос об управлении, есть один большой пробел и недостаток.

Изучая классические труды по НОТ'у, получаешь впечатление, что правильное планирование должно собственно упразднить и отменить управление. Производство должно итти, как часы, которые не нужно постоянно подводить, раз ход их уже выверен.

Управление при правильном планировании сводится в конце концов к контролю над исполнением плана. Едва ли в военном деле можно принять подобное понимание планирования. Планирование в военном деле отнюдь не призвано отменять управление. Напротив, управление здесь совершается через планирование операции, боя, атаки и проч. вплоть до малейших элементов сражения.

В военном деле нельзя отказаться от управления, которое, конечно, не может вестись наобум и беспорядочно. Управлять—значит проявлять постоянную активность, чутко реагировать на все изменения обстановки, словом, вести войско к победе. Эта связь планирования с управлением может быть только диалектическая, аналитические методы планирования здесь обрекают на пассивность и приводят к поражениям.

2

Диалектический метод в идеалистической форме получил наиболее яркое выражение у Гегеля. Здесь, конечно, не место давать анализ методологии этого мыслителя, оказавшего в свое время весьма значительное влияние на Маркса и Энгельса.

Общую характеристику Гегеля можно найти в различных историях философии и в трудах Плеханова. Здесь необходимо отметить лишь некоторые черты идеалистической диалектики Гегеля, которые имеют более тесную связь с методологией военных знаний.

Прежде всего нужно сказать, что проблема знания, как такового, весьма оригинально поставлена и разрешена у Гегеля. Со времен античной философии привыкли считать самой совершенной наукой математику и поэтому полагали, что всякое знание должно приближаться так или иначе по своей форме к отвлеченному математизму. Как известно, этого не избегло и военное дело. В особенности в XVIII веке этот математизм в военном деле господствовал. Стремились решать тактическую или оперативную задачу по аналогии с задачей математической, на место конкретных событий ставили отвлеченные схемы, линии, углы, точки. И до настоящего времени этот отвлеченный рационализм все еще недостаточно изжит. В особенности французская школа страдает этим недостатком.

Гегелю принадлежит бесспорно та заслуга, что он дал весьма принципиальную и меткую критику отвлеченного знания. Всякое отвлеченное знание противоречиво по своей сущности; при ближайшем рассмотрении всякое отвлеченное положение переходит в свою полную противоположность; так, например, с одинаковым правом можно сказать, что все вещи в чем нибудь тождественны с другими вещами и в то же время глубоко отличаются от них; неуклонное следование правовой норме переходит в высшую несправедливость.

Всякое знание, по Гегелю, имеет историческую основу. Знание может быть утверждено только в развитии знания. Нельзя рассматривать развитие мысли отвлеченно от живого процесса мысли. Нельзя, например, изучать философию вне истории философии.

Этот историзм у Гегеля, в противоположность так называемой исторической школе, принимает рациональную форму. Исторический процесс рационален, он может быть разумно определен, диалектика и является выражением исторических закономерностей.

В этом пункте влияние Гегеля на европейскую мысль было особенно значительно. Как известно, Маркс в этом всецело примкнул к Гегелю. Маркс стал рассматривать, как исторические категории, категории политической экономии, которые трактовались до него отвлеченно, как общие законы хозяйственной жизни вообще. Благодаря этому, трактовка политической экономии у Маркса коренным образом отличается от так называемой классической школы: диалектический метод позволил Марксу проследить генезис капиталистических отношений и определить развитие этих отношений вплоть до их гибели.

Если отвлеченное знание, по мысли Гегеля, недостаточно и подлежит критике, то отсюда намечается новое требование к мысли, претендующей быть реальной: истинная мысль должна быть конкретной, т.-е. выражать единство многообразных определений; необходимо каждое положение рассматривать в широкой и нерушимой связи с другими; эта связь и это единство существенны для живого процесса мысли. Особенно Ленин обратил внимание на этот момент диалектического метода, он его выдвигал и подчеркивал: душа диалектического метода в конкретном анализе, — говорил он. В известной речи о профсоюзах читатель может найти исчерпывающий материал, как Ленин понимал и применял конкретный анализ. Мы, в свое время видели, что конкретность является необходимым условием военной мысли. Так называемый прикладной метод возник именно на почве этих требований. У Гегеля мысль является также в первую очередь конкретной, но в то же вррмя Гегель чужд элементарного эмпиризма прикладничества, он всецело стоит за „работу понятия“.

Наиболее глубокой чертой диалектики Гегеля является активность, которую приписывает Гегель мысли. Маркс в своих тезисах о Фейербахе именно в этом видел преимущество идеалистической философии, по сравнению с механическим материализмом XVIII века. Весьма трудно в крат-

ких чертах изложить смысл этого утверждения Гегеля, пришлось бы вдаться в некоторые подробности, осложняющие дело. Необходимо ясно сознать вывод, который делает Гегель из своей теории; этот вывод сводится к известному положению: свобода есть понятая необходимость. В этом положении с одной стороны утверждается необходимость, т.-е. отметаются утопические уклоны, к которым склонен интеллектуализм всякого рода; Гегель выдвигает требования предмета, которые должны быть удовлетворены, объективные требования. С другой же стороны утверждается свобода, т.-е. не простое покорствование раз навсегда данному; мы можем активно противостоять действительности, преобразовать ее. Окружающая среда, которая своим воздействием нас воспитывает, сама может быть „воспитана", т.-е. изменена нашими усилиями. В этом выводе Гегеля Маркс, совершенно правильно, усматривал обоснование революционной практики.

Для военного деятеля эти мысли являются глубоко поучительными. Самый военный опыт никогда не дан нам в пассивном восприятии, он постоянно производится активными действиями воюющих; в то же время военный опыт имеет свою необходимость, свои жестокие законы, с которыми всякому военному деятелю приходится считаться. На войне, более чем где бы то ни было, свобода есть понятая необходимость.

Наконец, при характеристике Гегелевской диалектики, необходимо сказать и об основном законе ее, именно о специфическом единстве общего и частного, которое обусловливает собою диалектическое движение мысли. Слишком часто требование частного и требование общего, при нашем рассмотрении, расходятся между собой или, во всяком случае, далеко друг с другом не совпадают. Мысль, преследующая только общее начало, витает в абстракциях и готова оторваться от конкретной действительности; сосредоточивая наше внимание на частностях, мы рискуем распылить свои силы и упустить из внимания целое.

Когда возникает это противоречие между общим и частным, мы можем быть уверены, что совершили ту или иную методологическую ошибку, которая коренится в нашей недальновидности и близорукости. Например, когда представитель того или иного класса противополагает свои частные интересы интересам своего класса, то он совершает методологическую ошибку. Поэтому совершенно правильно в современной политической и агитационной литературе указывается, что так называемое шкурничество есть результат малой сознательности. Действительно, развитое сознание должно видеть единство интересов общего и частного.

Нигде это противоречие между общим и частным не сказывается в столь решительной форме, как на войне. Боем на войне решаются в конце концов все вопросы. Если вы потерпели поражение, то тщетными оказываются все ваши расчеты. Поэтому в военной литературе справедливо бой стоит в центре внимания. Однако, не следует забывать, что в то же время всякое сражение является лишь частностью в общем движении войны. Гегелю принадлежит один созданный им термин, могущий на первый взгляд смущать: бессилие победы.

В своей философии истории, заканчивая характеристику Наполеона I, Гегель пишет: „Никогда не были одержаны бóльшие победы, никогда не совершались походы более гениальные, но также никогда не выступало в более ярком свете бессилие победы".

Эти слова до Мировой войны могли казаться темными, теперь они кажутся почти пророческими. Не против боя говорит здесь Гегель; он вовсе не защищает устаревшую мысль стратегов XVIII века о том, что полководец не должен доводить дело до решительной битвы. Эта мысль совершенно чужда Гегелю. Бессилие победы обнаруживается тогда, когда приписывают ей общее, универсальное значение, когда думают, что частное действие само по себе может иметь общее значение. Такое абсолютное значение победы иллюзорно. И это обнаруживается там, где победа выступает с наибольшей силой. Своими победами Наполеон не столько победил Европу, сколько сам был побежден.

Все эти мысли Гегеля делают его крайне интересным и для современности. Военному деятелю и в настоящее время можно рекомендовать сочинения Гегеля, если только он пожелает более углубленно ознакомиться со своим предметом. Правда, это чтение трудное и требующее большой подготовки, но в настоящее время от военного деятеля тре-

буется вообще широкое общее образование. Нельзя быть в настоящее время односторонним ремесленником. Всякую тактическую задачу нужно рассматривать в широкой рамке общей обстановки и общих требований. Гегель, являясь по преимуществу философом, в то же время с пользой будет прочтен работником той или иной специальной науки; не меньше, чем политикоэконом, может извлечь из него и военный деятель.

Несмотря на все заслуги Гегеля в области разработки методологии, не следует закрывать глаза и на его существенные недостатки. Метод гегелевской диалектики во многом затемняется и извращается влиянием его системы, которая имеет в настоящее время только историческое значение.

Гегель в своей „Логике" излагает законы чистой мысли, он хочет постичь абсолютный разум, лежащий в основе всего. Поэтому, по мнению Гегеля, собственно говоря существуют только два истинных диалектика: абсолютный разум с одной стороны и сам Гегель — с другой. Обыкновенные люди не понимают законов мирового духа и не посвящены в тайны гегелевской философии, поэтому они мыслят и поступают недиалектично. Поэтому в истории философии Гегель ведет изложение таким образом, что каждая философская система, будучи воплощением какой-либо категории мысли, является относительно-истинной; ложность ее проистекает от ее односторонней замкнутости и противоположности другим системам философии, которые в целом и представляют истину. По мнению Гегеля, философы до него были плохими диалектиками.

Точно так же и философии истории Гегель вовсе не дает в удел отдельным народам и их вождям, которые у Гегеля являются героями истории, способности диалектического мышления. Напротив, люди, по мнению Гегеля, отнюдь не являются диалектиками. Они всегда до конца уверены в истине своих истин, упрямо развивают эту истину и заслуженно погибают от своей односторонности, от своей неспособности мыслить диалектически.

Окончательным выводом философии истории является у Гегеля примирение с существующим и с прошлым. Диалектика перестает быть активным и ведущим вперед началом, тревога ищущей мысли успокаивается в найденной гармонии противоречий. В этом конце философии Гегеля

есть полное философское успокоение. Здесь Гегель обращается против самого себя; здесь система Гегеля ополчается против его метода. В этом противоречии исторически погибла философия Гегеля. Это противоречие было скрыто в гегелианской школе. У Маркса и Энгельса, которые принадлежали к этой школе, можно найти диалектику, устремленную не на постижение абсолютного разума, а в конкретном ее применении к задачам общественным и историческим.

Гегель хотел лишь понять прошлое и оправдать настоящее. Маркс же стремился, изучая настоящее, наметить тенденцию грядущего, он стремился прежде всего определить, каким будущим чревато настоящее.

Не требуется пространных доказательств для уяснения того, что применение диалектики у военного деятеля может быть допустимо лишь по методу Маркса, а отнюдь не по методу Гегеля.

Военный деятель обращается не к прошлому, как таковому, а к будущему, он исходит в своей конкретной работе из настоящего, и из анализа его элементов и основных отношений хочет построить свою дальнейшую тактику.

На „Капитал" Маркса вовсе нельзя смотреть, как на чисто теоретическое исследование, нельзя ни в коем случае упускать из виду его практический характер. „Капитал" заключает, как непосредственный свой вывод, ряд программных пунктов; по замыслу Маркса он должен был выковывать оружие для классовой борьбы. Таким образом, мысль у Маркса становится моментом политической и социальной борьбы.

Точно также и диалектика военной мысли имеет этот прагматический действенный характер; она была бы совершенно излишней в военном деле, если бы не выковывала, так или иначе, интеллектуальное оружие для победы.

3.

Применение диалектического метода к военному делу, сознательное и последовательное, мы имеем у Клаузевица.

Труд Клаузевица о войне доныне в своих существенных чертах не устарел и может служить средством расширения и обогащения военной мысли.

В предшествующих главах нам не раз приходилось заниматься разбором взглядов Клаузевица на тот или иной вопрос, приходилось констатировать, что Клаузевиц дает весьма проницательные и глубокие ответы на самые трудные методологические вопросы военного дела.

Метод Клаузевица отнюдь нельзя считать устаревшим, он подлежит лишь дальнейшей разработке и освобождению от романтической идеологии, которая во многом его извращает. Можно сказать, что Клаузевиц играет в истории военного искусства примерно ту же роль, что Гегель в истории философии. Подобно тому, как метод Гегеля нельзя трактовать, как пережиток античной мысли, подлежащий устранению, точно так же и методология Клаузевица при правильном пользовании может дать весьма ценные результаты при разборе современных вопросов военного дела.

Здесь не к чему повторять ранее сказанное о Клаузевице, но все же нельзя не напомнить два особенно важных вывода его учения, касающиеся природы войны, с одной стороны, и характера военных знаний — с другой стороны.

Диалектическая природа войны обрисована Клаузевицем в первой книге его труда убедительно и с большой ясностью. Нельзя определить войну отвлеченно, не впадая при этом в противоречие с действительным военным опытом. „При отвлеченном понимании войны мы попадаем из одной крайности в другую. Наш вывод не применим в мире действительности“. Отвлеченно разбирая войну пришлось бы ее определить, как борьбу до последнего истощения всех сил и всех средств. Войну пришлось бы понимать, как борьбу двух противников, в слепой ярости бросившихся друг на друга. Война уподобилась бы взрыву бомбы. В действительности же война не есть только стихийный взрыв и стихийное проявление насилия, в то же время она руководится расчетом и смыслом. Война, как она нам дана в действительности, может быть понята только в связи с политикой. Войны в истории имеют различные опосредствования, война есть часть более сложного целого, и это взаимодействие отражается на всех ее этапах.

Благодаря этому война, которая сама по себе является чистым хамелеоном, получает закономерность и может быть понята, как законообразный процесс. Все многообразие военного опыта укладывается в одну формулу, начиная от войн французской Революции и войн Наполеона и кончая картофельной войной Фридриха II. Таким образом те полярности стратегии, которые в настоящее время констатировал в своем труде проф. Дельбрюк, находятся уже у Клаузевица с тою лишь разницей, что предельные пункты, оба полюса войны, у Дельбрюка не соединены никаким законом, а у Клаузевица они являются выражением диалектической природы самой войны. Дельбрюк, несмотря на весь свой историзм, остается во власти абстрактной схемы, Клаузевиц же через преодоление отвлеченной точки зрения на войну приближается к пониманию войн в их действительности.

Этим самым Клаузевиц приходит к своему второму основному выводу: военная мысль не должна витать в пустых отвлеченностях, она должна быть конкретной, военное знание принимает форму „рассмотрения“. На этой стороне учения Клаузевица мы достаточно подробно останавливались раньше и можем лишь сослаться на ранее сказанное.

Здесь нас должны интересовать иные стороны учения Клаузевица, его глубокомысленное учение об обороне и наступлении, недостаточно оцененное военной литературой, в особенности немецкой.

Начинает Клаузевиц с обороны. Само это начало может вызвать недоумение. Обычно (в особенности до Мировой войны) рассуждали и рассуждают совершенно иначе. Большинство теоретиков склонны были односторонне подчеркивать наступление, отводя обороне второстепенное значение. Полагали, что прежде всего следует навязать свою волю противнику, собственною активностью парализовать врага; поэтому при правильно организованном наступлении, можно пренебречь действиями врага, который принужден будет подчиниться более деятельной и целесообразно направленной воле противника.

Клаузевиц своим учением об обороне совершенно иначе ориентирует проблему: для него первое — есть оборона, а не простое нанесение удара.

Рассуждения Клаузевица носят для современного читателя несколько непривычный характер, они формулированы в положениях, которые звучат чрезмерно рационалистически. Нужно отвлечься от этого способа изложения, чтобы выявить суть дела.

„Что такое оборона?—спрашивает Клаузевиц и тут же отвечает:—это противодействие удару". Существенным признаком обороны является выжидание удара, этим оборона отличается от нападения. Таково абстрактное определение обороны; оно не выдерживает критики, будучи односторонним и ложным. „Абсолютная оборона совершенно противоречит сути войны". В самом деле, если бы на войне одна сторона наносила удар, а другая сторона только выжидала, то войну вела бы собственно одна сторона. Поэтому на войне оборона может быть только условной и относительной. „Принцип обороны—выжидание удара—относится к обороне вообще и не распространяется на все ее части" (книга 6, глава I).

„Частный бой будет оборонительным, когда выжидаем приближения и приступа неприятеля; сражение, если выжидаем атаки, т.-е. появления противника перед нашей позицией и под нашим огнем; наконец кампания—когда выжидаем вторжения неприятеля.

Во всех этих случаях видим общий признак выжидания и обороны, и тем не менее нет противоречия сути войны, потому что, по нашему расчету, выгодно ожидать приступа неприятеля на нашу позицию или вторжения в наши пределы".

Противоречия действительно, не получается, если оборону брать не в безусловно пассивном смысле, а придать ей характер активности,—противодействия. „Для того, чтобы и самому вести войну, необходимо не только отбивать, но и наносить удары, атаковать".

„Можно нападать и в кампании оборонительной и в оборонительном бою пускать в атаку отдельные дивизии; даже расположившись для простого принятия приступа неприятеля, мы все же посылаем ему атакующие пули и снаряды. Следовательно, оборонительный вид ведения войны не есть простой непосредственный щит, но щит, составленный из искусственных ударов".

Таким образом оборону нельзя понимать чисто пассивно; подобное понимание обороны приводит к противоречию; в понятие обороны следует включить момент противодействия (Rückwirkung). Поэтому определение понятия обороны у Клаузевица принимает следующий вид. „В тактике

будет оборонительным всякое сражение, в коем почин предоставляем неприятелю, ожидая его появления перед нашей позицией. Но с этого момента можем воспользоваться всякими наступательными средствами. Если же от тактики обратимся к стратегии, то и в ней останутся все те же самые свойства обороны, но только всякая кампания заменит в ней сражение, а театр войны—позицию. Наконец вся война падет на место единичной кампании и вся территория—на место театра войны одной кампании. А при всем этом основные средства обороны, как в тактике, так и в стратегии, остаются все те же самые (кн. 6, гл. I). Оборона легче наступления. Оборона является более сильным видом ведения войны. Если бы наступление было более сильным видом ведения войны, то не было бы поводов когда-либо пользоваться обороной. Всякий должен был бы стремиться нападать, а всякая оборона была бы полной нецелесообразностью.

Любопытно, что до Мировой войны большинство теоретиков военного дела стояло именно на этой точке зрения. Оборону понимали слишком узко, только как пассивное ожидание, и поэтому все стремились наступать. Этим была сделана предпосылка для теории так называемого встречного боя, который разрабатывался главным образом в Германии. Не замечали, что всякое наступление необходимо должно иметь остановки и тем самым перейти в оборону, не видели, с другой стороны, что оборона при правильном ее понимании переходит в наступление. „Мгновенный мощный переход в наступление—это самый блестящий меч обороны. Кто этого не сознает или, вернее, не включает прямо в понятие обороны, тот никогда не уловит ее превосходства. Он будет думать только о том, насколько наступление способно уничтожить средства противника и увеличить свои" (кн. 6, гл. VI).

Этому своему выводу Клаузевиц дает форму диалектическую. Оборона является более сильным видом войны, но в то же время ее цели отрицательные, т.-е. сохранение, в то время, как наступление стремится к цели положительной—захвату. Раз это так, то правильное понятие обороны переходит в наступление. Клаузевиц прямо говорит: „из этого само собой следует, что обороняться нужно только так

долго, пока не чувствуем себя в силах устремляться к цели положительной. Одержавший верх в обороне вместе с тем достигает обыкновенно более выгодного соотношения сил, а потому естественный ход дела (курсив мой) будет такой, что начинают обороной и оканчивают наступлением. Было бы противно природе войны искать спасения в постоянной обороне в течении всей войны; точно также несогласно с ее сутью распространять пассивность обороны вообще и на все единичные частности борьбы. Одним словом, одинаково бессмысленна война, пользующаяся победами только в видах защиты, как бессмысленны отдельные сражения, в которых все было бы налажено только для самой абсолютной, пассивной обороны".

Таким образом мы видим, что оборона переходит естественным ходом дела „в свою противоположность". Клаузевиц даже говорит о „мгновенном переходе в наступление"; таким образом, в общей теории намечен переломный момент и кризис. **Учение о кризисах боя операции и кампании является центральным у Клаузевица в его разборе обороны и наступления.** Это самая оригинальная и глубокомысленная часть рассуждения Клаузевица. Действительно, раз отдельные бои и вся война в целом поняты, как диалектический процесс, как переход из одной противоположности в другую, то необходимо наметить и самые „узловые линии развития" т.-е. самый перелом боя, операции или кампании. В сражении оборонительном этот кризис обрисован Клаузевицем следующим образом: „обороняющийся поджидает противника, стоя на своей позиции; он избрал подходящую местность, изучил ее, укрепил важнейшие пункты, устроил сообщения и изыскал место для скрытого расположения своих масс. Устроившись таким образом, обороняющийся спокойно наблюдает за ходом сражения. При этом, конечно, он не должен считать неистощимой оборону своего фронта или фланги свои вполне неуязвимыми, и он не должен расчитывать на то, чтобы повернуть дело нападением нескольких своих батальонов или эскадронов. Главной его опорой являются его резервы, которые составляют от $^1/_4$ до $^1/_3$ его сил. Масса эта расположена так, что не только не может быть речи об уроне от сил неприятеля, но и стоит она по возможности далеко позади линии воз-

можного охвата противника, направленного на тот или другой из флангов обороняющегося.

Эту массу обороняющийся полагает бросить в дело тогда, когда наступающий вполне уже раскроет свой план и израсходует большинство сил. „**Обороняющийся решил разыграть свое особое наступательное сражение**, в которое должны войти все присущие наступлениям начала: нападение, нечаянность, охват; этим ударом он выводит из равновесия колеблющийся центр тяжести боя, придавая ему стремление обратное".

Такова общая концепция кризиса оборонительного боя у Клаузевица. Эту концепцию Клаузевиц в дальнейшем весьма детализировал, на ряде многочисленных примеров он иллюстрировал свою мысль. Здесь не место вдаваться в эти детали, которые только загромоздили бы изложение. Чтобы понять в полной мере учение Клаузевица о кризисах, лучше обратиться к его учению о наступлении; здесь тот же предмет выступает перед нами, но в обратном порядке, более легко усваиваемом.

Учение об обороне у Клаузевица подготовляет его учение о наступлении. „Если два понятия логически противоположны,—начинает Клаузевиц свое учение о наступлении (наброски для 6 книги гл. I),—то одно делается дополнением другого, так что в сущности, из одного понятия проистекает другое". Как мы видели, оборона не состоит в безусловном выжидании, оборона пассивна лишь относительно, истинная оборона проникнута началами наступления. Теперь Клаузевиц старается показать, что наступление не сплошь однородно, оно всегда смешано с обороной.

Оборона без противоудара немыслима, она—необходимая составная часть обороны. Но при наступлении не столь легко видеть ее противоположность, с которой оно связано. „Понятие о наступлении можно свести к удару, который сам по себе, как нечто цельное и законченное, в обороне не нуждается". Тем не менее нельзя изолированно рассматривать наступление. „Наступление связано условиями пространства и времени, которое приводит его к обороне, как к злу неизбежному". Прежде всего нужно иметь в виду, что наступление никак не может быть доведено до конца с непрерывной последовательностью; наступление нуждается во временном покое. „Состояние обороны является тогда

само собой. Во-вторых, нельзя думать, что наступательные войска одним своим расположением прикрывают пройденные им пространства; это пространство приходится оборонять особо".

Таким образом, наступление постоянно сменяется обороной. Эта оборона поистине „Ахиллесова пята" наступления. Клаузевиц называет оборону при наступлении необходимым злом. Оборона ничего не делает в пользу самого наступления, но уменьшает успех последнего неизбежной потерей времени. Поэтому наступление вынуждено влачить за собой самые худшие начала обороны. О них никак нельзя сказать того же, что и об обороне цельной. Таким образом делается понятным, что эти начала обороны могут стать началом, положительно ослабляющим наступление. Этими именно моментами слабой обороны, сменившей наступление, и должна пользоваться оборона для положительной деятельности своего наступательного начала.

Эти положения Клаузевица, формулированные в столь отвлеченном виде и так неуклюже звучащие в русском переводе Войде, по которому цитирую, должны быть оценены по достоинству. Глубокий их смысл всего лучше уясняется примером из Мировой войны, последних ее годов на западном фронте. Можно сказать, что операции 18-го года, все еще недостаточно изученные, могут быть поняты только в свете учения Клаузевица об обороне и наступлении. Успех союзников был обеспечен тем, что они сознательно повели активную оборону и располагали всеми средствами для ее осуществления. Несчастие немцев было в том, что они должны были вести наступление, влача за собой гири вынужденной обороны, которая их истощила, и поворотный пункт войны обозначился тогда, когда Фош „воспользовался моментом слабой обороны, сменившей наступление", и из обороны сам перешел в решительное наступление на немцев, неожидавших контр-удара.

Из всего вышеупомянутого, Клаузевиц выводит заключение, что при всяком наступлении необходимо принимать в расчет присущую ему оборону.

Наступление переходит в оборону с той же естественной последовательностью, как оборона переходит в наступление. Клаузевиц следующим образом перечисляет силы, уменьшающие наступление: 1) самая цель наступления, так как она включает занятие неприятельского края, 2) необходимость для наступающего занять край позади себя для обеспечения своих сообщений и приобретения средств к жизни, 3) потери в сражениях и от болезней, 4) удаление от источников пополнения припасов, 5) осада или обложение крепостей, 6) утомление, 7) отступничество союзников.

Все эти причины уменьшают силы наступления. Наступление, встречая тормозы и преграды, приостанавливается и тогда наступлению грозит катастрофа. Наступает кризис. Этот момент Клаузевиц назвал „высшей точкой наступления" и ей посвятил целую главу.

Наступление есть результат наличного превосходства сил, однако, силы наступления постепенно истощаются. Правда, бывали стратегические наступления, которые вели непосредственно к миру, но таких не много. И не эти примеры показательны и поучительны. Большинство стратегических наступлений доходит до такого пункта, когда силы еще достаточны, чтобы держаться в ожидании мира. За этим пунктом находится уже переворот и реакция. Эта реакция обычно превосходит в значительной мере силу предшествующего ей удара. „Этот пункт приостановки называем высшей точкой наступления".

По мнению Клаузевица, все искусство военного деятеля в том, чтобы с тонким расчетом почувствовать, где лежит эта точка наступления. Война есть процесс борьбы, в котором уменьшение сил одной стороны равносильно увеличению сил другой; перед нами действительно поток прилива и отлива. Пусть наши силы готовы притти к концу, но наш противник уже не может бороться. „Если повалить противника возможно хотя бы незначительным остатком нашего перевеса, то было бы ошибкой не пустить его в дело". Поэтому нужно пустить в ход все силы, но в то же время хорошо сознавая, что высшая точка победы может обозначать срыв.

Когда победитель вынужден перейти к обороне, то у противника замечается прилив энергии, и защита становится тем труднее, что она не может вестись достаточно активно ослабевшими силами. „История учит, что самая большая опасность, т.-е. переворот, грозит только с момента, когда наступление останавливается и переходит к обороне".

Таково вкратце учение об обороне и наступлении у Клаузевица. Главной особенностью этого учения является теснейшее взаимодействие обороны и наступления и их взаимный переход друг в друга. Этот переход является не только непрерывным развитием подобно тому, как белое переходит в черное через все оттенки серого; этот переход в обоих случаях есть кризис, перелом. Понятие непрерывности у Клаузевица углублено диалектически. Этой диалектикой Клаузевиц освещает нам более, чем какой-либо иной теоретик, природу военных действий и характер боя.

Наряду с выдвинутыми выше положительными чертами учения Клаузевица необходимо упомянуть также и об отрицательных, которые в особенности дурно повлияли на учеников Клаузевица, вплоть до современности. Главный недостаток Клаузевица состоит в общей романтической установке всей его философии войны. Он рассматривает войну, как борьбу двух воль; внешность войны — это только покров ее внутренней сущности. Поэтому Клаузевиц резко и весьма недиалектично противополагает материальные средства войны и распоряжение этими средствами. Прежней стратегии и тактике Клаузевиц ставит в укор, что они „не выходили из области материи", т.-е. занимались главным образом вопросами артиллерии, фортификации, организации и администрации. Все это, по мнению Клаузевица, относится собственно к подготовке к войне, а не к самой войне. „Под именем высшего искусства в прямом смысле мы будем подразумевать искусство употреблять данные средства в борьбе".

Поэтому под тактикой он подразумевает учение „об употреблении вооруженных сил в бою" и под стратегией — употребление сражений для целей войны.

Главный довод, почему Клаузевиц столь сужает предмет как тактики, так и стратегии, состоит в том, что нельзя одновременно изложить теорию военного дела в смысле военодействия (Kriegsführung) и в смысле исследования устройства военных сил. „Для теории весьма важно отметить эти два дела потому, что если каждая теория искусства войны начиналась исследованием устройства боевых сил, приурочивая их организацию к своей теории, она пригодна была бы в частности только тогда, когда данные боевые средства соответствуют ее требованиям. Если же теория должна удо-

влетворить большинству случаев и никогда не быть вполне пригодной (курсив мой), то она должна принять обыкновенно существующие боевые силы и общие всем им действия".

Этот аргумент с очевидностью показывает, что Клаузевиц в данном пункте существенно отступает от своей диалектической точки зрения. Вся история военного дела свидетельствует о том, что боевые средства, как организация и военная техника, имели решающее значение для тактики и стратегии, что технические средства постоянно революционизировали военное дело. На наших глазах в Мировой войне это подтвердилось еще раз с особой силой. Клаузевиц в данном случае злоупотребляет абстракцией, думая выделить из „большинства случаев" некую общую им всем теорию „военодействия". Подобная цель явно недостижима. На место конкретной задачи выставлена задача отвлеченная.

Пренебрежение „материей войны" особенно пагубно сказалось у учеников Клаузевица, в особенности во французской школе. Во Франции авторитет Клаузевица выдвигали „драгомировцы" против военных инженеров.

Весьма интересно сопоставить диалектический метод, как его применяет Клаузевиц к проблемам военной тактики, с диалектическим методом, как его применял Ленин к проблемам классовой и революционной борьбы. Конечно, данный вопрос требует специального обследования и в настоящее время не может быть разработан в исчерпывающей полноте; но все же современная литература по ленинизму дает достаточно материала для освещения его.

Диалектика Ленина отличается от диалектики Клаузевица прежде всего и главным образом своими общефилософскими предпосылками. Клаузевиц в своем учении о войне является идеалистом и романтиком. Диалектика Ленина материалистична, употребление средств борьбы у Ленина неотделимо от сущности самих этих средств. Учет социальных условий борьбы, возможностей и средств, которыми располагают борющиеся классы, является необходимой базой для приятия того или иного тактического решения.

Конкретный анализ Клаузевица с точки зрения Ленина является поэтому — недостаточно конкретным, ибо он не учитывает в полной мере конкретных условий борьбы. Ленин

наиболее подчеркивал в диалектическом методе именно его конкретность.

Как мы видим, ученики Клаузевица грешили тем, что они мало уделяли внимания изучению военной техники, выдвигая примат искусства в военном деле.

Эта общефилософская предпосылка материализма вносит и другие весьма существенные изменения в понимание диалектического метода у Ленина по сравнению с Клаузевицем. В частности выше было уже отмечено, что исторический метод в марксизме и в ленинизме существенно отличается от историзма, обычно принятого в политической экономии и юриспруденции.

Вкратце невозможно перечислить все наиболее существенные черты диалектики Ленина. Все же представляется необходимым указать на те стороны диалектики Ленина, которые имеют связь с наибольшими результатами использования для военной мысли и в частности для военной тактики.

Ленинскую тактику прежде всего отличает ее гибкость. В „Детская болезнь левизны" собран достаточный материал, „характеризующий те недоразумения, которые возникли по этому вопросу у представителей различных левых группировок". Тактика Ленина представлялась им неприемлемой потому главным образом, что они не усваивали ее диалектического характера. Ленин с отчетливостью показывает, что так называемая оппозиция „слева" на самом деле является оппозицией „справа", что „шаг дальше в том же направлении—и истина превратится в ошибку" („Детская болезнь левизны" 1920, стр. 96).

Эта тактическая гибкость имеет у Ленина теоретическое обоснование: следует признать, что тактика у Ленина глубоко последовательна и совершенно не совпадает с тем, что принято называть оппортунизмом. Ленинская тактика основана на диалектике, а диалектика включает, как момент развития, известный кризис и поворотный пункт. Мы видели действие этого принципа при разборе понятия непрерывности в учении Клаузевица о кульминационном пункте победы. Диалектика понимает последовательность иначе, чем простая силлогистика; диалектика имеет дело с противоречиями, которые однако не принимаются, как абсурд, а включаются в разнообразные развития движения вперед мысли.

В этом смысле внимательный разбор ленинской тактики в политической и социальной борьбе может многому научить военного деятеля на всех ступенях служебной иерархии.

Наиболее показательным примером гибкости теории Ленина в тактике является Брестский мир и переход на новую экономическую политику. Брестский мир означал как бы уступку германскому империализму, находившемуся тогда в кульминационном пункте своих побед. НЭП так же представлялся многим отступлением от завоеванных позиций. Ленин учел необходимость как заключения Брестского мира, так и перехода на новую экономическую политику; он выдвинул лозунг „смычка" который сохранился и до настоящего времени.

В самом деле, если бы Брестский мир не был заключен, то получился бы отрыв партии от народных масс, жаждавших прекращения войны; равным образом сохранение военного коммунизма при обеднении крестьянских хозяйств обозначало бы разрыв между рабочими и крестьянами.

Лозунг „смычка" отнюдь не может быть понимаем, как соглашательство. Наоборот, он вытекает всецело из диалектической тактики Ленина. Дело в том, что по Ленину в революционной борьбе нельзя рассматривать определенный класс изолированно от других классов. „Когда речь идет о практическом действии масс—о размещении—если позволительно так выразиться—миллионных армий, о расстановке всех классовых сил данного общества до последнего и решительного боя, тут только с одними пропагандистскими навыками, с одним только повторением истин „чистого" коммунизма, ничего не поделаешь. Тут надо считать не до тысяч, как в сущности считает пропагандист, тут надо считать миллионами и десятками миллионов. Тут надо спросить себя не только о том, убедили ли мы авангард революционного класса,—а еще и о том, размещены ли исторически действенные силы всех классов, обязательно всех без исключения классов, данного общества, таким образом, чтобы решительное сражение было бы вполне назревшим, таким образом, чтобы, во-первых, все враждебные нам классовые силы достаточно запутались, достаточно передрались друг с другом, остаточно обессилили себя борьбой, которая им не по силам, чтобы, во-вторых, все колеблющиеся, шаткие, неустой-

чивые премежуточные элементы т.-е. мелкая буржуазия, мелкобуржуазная демократия в отличие от буржуазии, достаточно разоблачили себя перед народом, достаточно опозорились своим практическим банкротством и чтобы, в третьих, в пролетариате началось и стало подниматься растущее массовое настроение в пользу поддержки самых решительных, боевых, смелых революционных действий против буржуазии.

Вот тогда революция назрела, вот тогда наша победа, если верно учли все, намеченные выше, кратко обрисованные выше условия и верно избрали момент, наша победа обеспечена" („Детская болезнь левизны", ст. 82).

Я позволил себе сделать длинную цитату, потому что из нее вытекают крайне важные следствия.

Прежде всего мы видим, что диалектический метод требует, чтобы каждое явление было рассмотрено в связи с другими его опосредствующими и его обусловливающими. Нельзя рассматривать явление изолированно, отвлеченно. Поэтому поведение революционного авангарда обусловлено, по Ленину, — размещением всех классовых сил данного общества. Переводя эти положения на военный язык, мы должны будем сказать, что бой в современных условиях для того, чтобы он не превратился в местный и частный успех, чтобы он был целесообразен,—должен иметь какое-либо общее значение. В Мировую войну одерживались блестящие победы, однако они обнаружили лишь „бессилие победы", по терминологии Гегеля.

Это придает самому понятию победы совершенно иной смысл. Раньше сам бой представлялся сокрушением противника. Это определение Клаузевица было господствующим. Однако это определение слишком обще и пусто. В нем не указано, каким образом надламливается воля к борьбе у противника и при каких условиях. Теперь мы можем в понятие победы вложить совершенно новый смысл: победа есть дезорганизация врага.

Дезорганизация противника предполагает хорошую организацию победителя. Хорошая организация есть в настоящее время ключ к победе. Организация в самом широком смысле этих слов, не только организация того или иного сражения, операции или армии, но организация

также и всей страны, поскольку она принимает участие в военных действиях.

Хорошая организация, понятая, как момент и средство борьбы, может быть понята только диалектически. Организованность предполагает согласие интересов общих и частных. Ленин нашел это единство в классовом самосознании пролетариата и строил последовательно свою тактику на классовом интересе. Во-вторых, мы не должны забывать, что организованные ряды бойцов в процессе борьбы дезорганизуются и это—как при наступлении, так и при отступлении; поэтому задача сводится не только к тому, чтобы достичь организованности, но постоянно ее поддерживать. Говорят, армия в боях закаляется,—это совершенно правильно, но этот закал является в то же время следствием все большей спайки частей, их сплоченности, их организованности. Поэтому бой в той же степени дезорганизует армию, как и организует ее, в особенности бой победоносный и армию, хорошо управляемую.

В этом пункте мы подходим к наиболее острым, наиболее актуальным проблемам современной тактики и стратегии. Здесь диалектический метод, как он трактуется Лениным, может оказать существенную пользу для понимания очередных вопросов военной мысли.

Наиболее ярким примером противоположности двух вождей в решительную войну не на жизнь, а на смерть,—являются Сципион и Ганнибал.

План Ганнибала состоял в том, что для сокрушения противника он рассчитывал на две силы: во-первых, на тактическое превосходство своих войск над римским ополчением, и, во-вторых, на дезорганизацию Италии, которая будет в корень расшатана долголетней войной. И в том и в другом он не ошибся. Ганнибал нигде не был побежден в Италии, он выходил целым и невредимым даже из тех западней, которые ставили ему римляне; точно также несомненно было налицо противоречие интересов различных частей Италии. Ганнибал держался главным образом в южной Италии, и никакие усилия римлян не были в состоянии выбить его оттуда. В то же время войну нужно было ликвидировать, иначе новые союзники окажутся на стороне Карфагена. Война за мировое соперничество все более

и более обращалась в мировую войну. При этих обстоятельствах примечательным становится план Сципиона Африканского. Этому вождю приходится приписать не только роль реформатора и организатора римского воина, ему нельзя отказать и в крупном стратегическом таланте.

Его стратегическая мысль находится в полной аналогии с его тактическими реформами. Как в тактике он выдвинул значение контр-удара, точно также и в стратегии он основывался на том же самом. На первый взгляд кажется непонятным, что в то время, как Ганнибал пребывает в Италии, Сципион деятельно борется в Испании и удерживает римскую армию на второстепенном театре войны. Но на самом деле было бы совершенно ошибочным штурмовать Ганнибала в Италии; эти попытки ни к чему бы не привели, кроме разложения самого Италийского союза; нужно было радикально изменить весь план, выбить материальную базу из под ног Ганнибала, завоевать Испанию, заставить отложиться от Карфагена его африканских союзников и тем выкурить Ганнибала из Италии, которую Ганнибал покинул, ни разу не будучи побежденным на Италийской почве.

В военной литературе безусловно очень высоко оценивают полководческую деятельность Ганнибала, ведь это он первый создал „Канны“, т.-е. открыл способ решительной победы с уничтожением живой силы противника. Сципиона оценивают гораздо ниже, он более организатор, во всяком случае не „гений“, наподобие Ганнибала; он хорошо лишь выражает несокрушимую мощь Рима.

Но нашему времени гораздо ближе Сципион. Ганнибал не имел ни той гибкости, ни тех организаторских талантов, которыми отличался Сципион. Ганнибал был велик, главным образом, как тактик, но кампания не выигрывается ныне одним сражением; отдельные поражения еще не ведут к дезорганизации противника.

Еще показательнее другая операция, весьма известная в военной истории: это действия Цезаря в сражении при Фарсале. „Записки“ Цезаря весьма любопытный памятник военной литературы. Тактика Цезаря всегда одна и та же: он дает назреть событиям, как бы торопит наступление кризиса, он уверен в себе, что найдется лучше противников, что унего хватит решительности воли и решительности мысли.

Фарсальская битва являет собою окончание экспедиции Цезаря против армии Помпея, стоявшего в Греции. Цезарю удалось переправиться через Адриатику, но флот его был уничтожен, так что он был отрезан от своей оперативной базы, находившейся в Италии. Осада Диррахиума, предпринятая им, затягивалась. Осаждающий терпел лишения гораздо большие, чем осажденные. Штурм позиций Помпея решительно не удался, и Цезарю пришлось снять осаду. Он был разбит. С разбитой армией, отрезанный от своей базы, он отступает в глубину Греции, которая находится во власти помпеанцев. Казалось, его положение было не только трагическим, но и прямо безнадежным. Его противники чувствовали себя близкими к победе, в лагере Помпея уже делили добычу; представлялось совершенно невероятным, что Цезарь может уйти, его оставалось только прикончить. Цезарь в свою очередь ждал и хотел этого сражения, он понимал, что отступление для него равнозначно безнадежности; поэтому как только он увидел, что Помпей строит свои войска для битвы, он поворачивает свои войска с марша и тотчас принимает бой. Битва для него являлась последней надеждой на победу.

Исход этого боя представляется совершенно невероятным. Не армия Цезаря, напротив, армия Помпея была ликвидирована, победа была одержана Цезарем полная и решительная. Помпей бежит, чтобы пасть под ударами кинжалов тех, кто его убийством хотел купить милость победителя. Каким образом это произошло? Маневр Цезаря основан на правильно понятой обороне. Ситуация Фарсальского сражения подсказала, как будет атаковать Помпей. Левый фланг Цезаря упирался в реку и, следовательно, был мало уязвим; центр имел испытанных и закаленных в бою легионеров; слабое место представлял левый фланг. К тому же у противника была хорошая конница, проникнутая классовым духом. Помпей действительно намеревался действовать охватом левого фланга Цезаря. Цезарь учитывает этот план, сюда он сосредоточивает свой тактический резерв. Помпей думал сразу, одним ударом, прикончить Цезаря. Он предсказывал: прежде чем в центре дойдет до решительной схватки, войско Цезаря будет обращено в бегство. Цезарь же основывал свои расчеты на верном контр-ударе, и дей-

ствительно, кавалерия Помпея была скоро отброшена, и Цезарь мог от обороны перейти в наступление. Помпей теперь увидел безнадежность своего положения, ему нечем было сопротивляться, его участь была решена.

Во всей этой операции примечательны два момента: решение отступать в глубь Греции после поражения при Диррахиуме и, во-вторых, контр-удар на левом фланге в сражении при Фарсале. Своим отступлением Цезарь создает совершенно новую ситуацию, обостряет предельно кризис, торопит его решение. Помпею только и остается итти следом за Цезарем, чтобы ликвидировать его, но здесь-то близкий к гибели Цезарь собирает силы и валит противника. Действия Цезаря свидетельствуют о крайнем напряжении, решительности и решимости.

Я брал примеры из античной военной истории. Удаленные на растояние веков, они выступают, как звезды на темном небе, они зрятся в своей монументальной простоте.

Бесконечно сложнее дело обстоит с современностью, но и тут мы можем воспользоваться некоторыми весьма любопытными примерами, взятыми из Мировой войны.

Прежде всего любопытны и во многом показательны действия французов на Марне.[1] Поражает больше всего быстрое усмотрение французами ошибок своего первоначального развертывания. Их левый фланг был обнажен, бельгийская армия не могла долгое время противостоять германскому натиску. Наступление самих французов в Лотарингии не только не удалось, но было вообще ошибочным, играло в руку германцам; французы словно сами готовили себе некие сверх-Канны, о которых даже не мечтал Шлиффен.

Все эти ошибки французского командования достаточно вскрыты критикой, и в них сознаются сами французы; но после первоначальных неудачных действий нас поражает чрезвычайно быстрое и решительное их исправление. Первоначальный план отвергнут безусловно. Первоначальная мысль о наступлении с решительной целью отвергнута всецело, предписано отступление до крайнего пункта, тут же подготовляется контр-удар, который позволил бы французам из обойденных превратиться в обходящих.

[1] Нужно сказать, что, несмотря на сравнительно большую литературу, Марнское сражение недостаточно изучено.

Можно думать, что действия французов, как бы они ни были целесообразны, все же являются вынужденными, они продиктованы первоначальными ошибками и первыми неудачами. Не будь их, французам вовсе не нужно было отдавать $^1/_3$ Франции и притом наиболее промышленные области во власть немцев и рисковать Парижем, что могло бы иметь катастрофическое значение.

Во многом все это вполне справедливо, и тем не менее нельзя не видеть, что за действиями французов скрывается некоторая общая мысль. В особенности это становится ясным, если сравнить их действия с действиями немцев.

Тактика немцев была рассчитана на последовательном и непрерывном действии. Они хотели гнать французов до окончательного поражения и окружения. Их действия представлялись им развитием одного плана и одного основного решения. В конце его осуществления им мыслилась окончательная победа. Поэтому немцы не имели в сущности никакого тактического резерва. С их точки зрения, выделяя подобный резерв, они сами лишили бы себя сил на фронте, которых всегда недостаточно. Они должны были двинуть все имеющееся у них для последовательного проведения в жизнь своего замысла. Таков был самый верный и самый краткий путь к победе. Но в эти расчеты совершенно не входил контр-удар. Самая возможность контр-удара для немецкой доктрины означала собственно ошибку, значит, не все было предусмотрено, значит, что-то было упущено, значит, неправильно был произведен расчет сил. Контр-удара вообще не могло быть. Немцы, несмотря на свою зависимость от Клаузевица, совершенно не усвоили себе диалектической природы войны.

С этой точки зрения несколько странными представляются упреки в пассивности, которую высшее немецкое командование проявило в первые месяцы войны. Говорят, что эта пассивность зависела от личности Мольтке-младшего и его болезненного состояния. Но совершенно непонятно, в чем и как могла проявить свою активность немецкая главная квартира, если бы она действовала в духе германской доктрины. Конечно, она могла заставить немецких генералов лучше слушаться, воспрепятствовала бы им действовать вразброд, может быть не потребовалось бы

вмешательства полковника Хенча, но все это лишь детали, по крайней мере в рассматриваемом нами плане событий.

Если и было что-либо ложным и неправильным, то это самый принцип, основной замысел. Верховное командование сознательно выпустило вожжи из рук. Оно представляло ход событий, как развитие одного решения. Это решение было вынесено, дальнейшее было уже не в его власти, оставалось лишь приводить его в исполнение частным начальникам. Больше верховное командование не могло ничего сделать, оно бросило на чашку весов все свои силы. В силу собственной своей доктрины оно обрекало себя на бездействие в минуту кризиса, ибо немецкая теоретическая мысль вообще отрицала кризис.

Французы, напротив, имели совершенно иное представление о ходе боевых действий, они гораздо более угадывали естественную диалектику развертывающихся военных событий. При разборе взглядов Фоша мы видели, в какой мере они заботились о сохранении „свободы".

У самого Фоша эта идея непосредственно перешла в действие в дни Марнского сражения. Против его армии немцы намечали прорыв, рессурсы Фоша казались исчерпанными, его силы стабилизированы, Фош величайшими усилиями выводит часть своих бойцов из окопов, образует ударную группу, способную маневрировать. Когда это ему удалось, он посылает Жоффру свою маловразумительную телеграмму: „Мой правый фланг смят, центр еле держится, положение блестящее, завтра атакую".

Собственно также с подобной же свободой действовали и немцы на востоке против русских, к чему их побуждали неповоротливость и одностороннее упорство их противников.

Одной из наиболее блестяще проведенных операций немцев нужно считать их действия около Лодзи. Обстановка складывалась очень тяжело для них. Их натиск на Варшаву был отбит. Русские войска гнали австро-германскую армию. Русское командование думало, что война теперь будет перенесена на германскую территорию, и стремительно преследовало противника. Людендорф быстро смешивает все карты, уводит свои войска в тыл, перегруппировывает их и направляет для флангового удара со стороны Торна почти в тыл зарвавшимся русским, слабо эшелонированным в глубину. Предприятие велось сравнительно очень незначительными силами; русским удается даже окружить обходящего врага, но в результате все же немцы оттеснили русских к Равке и Бзуре. Контр-удар свел на-нет успех русских. Поражение окончилось победой.

В этой операции мы видим опять таки наличность контр-удара и новое решение, коренным образом меняющее дело, переброску сил во фланг и изменение общей ситуации.

4.

Я привел некоторые примеры, могущие показать, что я подразумеваю под естественной диалектикой военных явлений и под диалектикой военного мышления, когда оно пытается осознать свой предмет.

Эти примеры можно было бы значительно увеличить, но может быть лучше несколько иным путем уяснить те моменты, которые мне хотелось бы подчеркнуть. Для этого стоит только сгруппировать те своеобразные учения о бое, которые все более и более выдвигаются современными теоретиками.

Мне кажется, ныне благодаря опыту Мировой и Гражданской войн совершился некоторый сдвиг в оценке так называемых принципов стратегии и тактики. Принцип частной победы, столь оправдавшийся в войнах Наполеона, и в известной форме в стратегии Мольтке, больше не выдается за единственно спасительный. Все больше и больше укрепляется мысль, что нельзя победить сразу. С другой стороны выдвигается и подчеркивается значение частных коротких ударов, так сказать принцип рассеяния сил (dispersion des éfforts) по терминологии генерала Серриньи.

Эта идея, кажущаяся столь новой, подготовлена знаменательным военным опытом прошлого. Наполеон любил держать свои войска сосредоточенно, он держал их собранными в кулак. Но уже Мольтке говорил об отрицательных сторонах сосредоточенности. Войско в этом случае зачастую вовсе не может быть использовано, сосредоточенное на узком пространстве. Оно упрется в огненную стену, которую ему всегда может противопоставить даже слабейший числом противник. Гораздо целесообразнее использовать войска, действуя в обхват и в обход. Поэтому уже Мольтке держал свои кор-

пуса на расстоянии друг от друга, не беспокоясь о том, что они будут разбиты по частям, ибо разбить армию сразу ныне очень трудно. Дееспособная армия всегда может увернуться от занесенного над нею удара.

В Мировую войну выявились ясно те тенденции, которые еще слабо намечены у Мольтке. Прорыв фронта обычно не удавался, фронт скорее более или менее вдавливался. Даже в наиболее удачных прорывах он так или иначе вновь восстанавливался. Клин из живой силы не мог пробить его толщу. Зато имели неожиданный успех частные атаки. Принцип внезапности оказался повсюду торжествующим. В местах этих частных ударов обычно завязывалась борьба. За атакой следовала контр-атака. В этой борьбе побеждал тот из противников, который был лучше организован или лучше снабжен техническими средствами. Проблема организации выступила на первый план, стала наиболее интересной. Организация может ныне почитаться решающим фактором победы.

Действительно, производить атаку в современной войне без тщательной подготовки, без дружного содействия различных сил, пехоты, танков, артиллерии и аэропланов едва ли может быть допустимо. Но также и контр-атака не может быть просто приказана по телефону, она также должна быть организована. Организация таким образом играет определенную роль, как в наступлении, так и в обороне.

Ныне совершенно своеобразно понимают победу и ее условия. Победа есть прежде всего дезорганизация противника, не в субъективном только, но, главным образом, в объективном смысле этого слова. Может быть, именно в этом пункте всего яснее видно, насколько мы удалились от старых воззрений. У Клаузевица победа обусловлена поражением, главным образом, моральных элементов противника. Моральный элемент дает единство действиям борющихся сторон, так что борются как бы две воли и две силы. Мы склонны говорить иначе: на место единства субъективного мы ставим единство объективное. Организованная армия в силу самой своей организованности является могучим, может быть совершеннейшим, фактором как раз морального элемента. Хорошо организованная армия будет тем

самым иметь единый и крепкий моральный элемент. Все втянуты в общую коллективную работу и, принимая участие, в ней становятся более стойкими и более годными.

Отсюда понятно, почему в современной литературе так подчеркивается значение кадров, этих рамок, в которых размещается живая сила.

Достаточно представить себе борьбу хорошо организованных и хорошо спаянных армий, чтобы видеть, что борьба между ними не может быть окончена сразу, одной битвой; она затягивается. Это растяжение боев во времени все увеличивается в течении девятнадцатого столетия. Былые однодневные сражения сменяются многодневными, недельными. Наконец, мы видим последнее сражение Мировой войны, которое длилось чуть ли не сто дней. Только в долгом и сложном процессе изматывается организация армии, ломается ее костяк, и она распадается. Трудно, почти невозможно, нанести один удар смертельный. Современная хорошо организованная армия до крайности жизнеспособна. Она легко восстанавливается, возрождается, как феникс из пепла.

Борьба кончается разложением, распадом. Давно было уже замечено, что войско отличается от толпы только своим порядком. Этот порядок менялся в зависимости от различных условий, и собственно с его установлением и начинается история военного искусства. Сокрушение порядка и есть победа. Если это так, то единственным средством для достижения победы будет являться дезорганизация противника, расшатывание его организации. Победит та армия, которая будет более подвижной, более быстрой в своих действиях. Отсюда требование наносить ряд коротких ударов, по возможности внезапных, т.-е. организованных в возможно кратчайший срок; враг начинает отставать, он теряет силы в напрасных усилиях и наконец распадается.

Таково представление о современном бое и о современной борьбе на войне. Борьба эта предполагает ряд усилий, взаимно связанных, и изменчивость сил, введенных в дело. Борьба имеет свой ритм, свои колебания, свои кризисы. Она не может итти по расписанию вся целиком, и это тем более, что отдельные ее фазы действительно совершаются по расписанию.

Организация каждой отдельной операции строго рассчитывается, при этом расчете играют немаловажную роль и часы и минуты, и в то же время никогда не может быть составлено расписание целого ряда операций; тут нужно новое решение, новое сознание вновь сложившейся обстановки, знания и понимания нового опыта.

Как мною было уже подчеркнуто, рационализм в военном деле в современном понимании вовсе не означает измышлений и дедукции из чистого разума, а прежде всего анализ, расчленение и уяснение конкретного опыта.

Так от этапа к этапу движется борьба. Это движение непрерывно, по крайней мере в том смысле, что сохраняет тождество направления и единство цели, но в то же время эта непрерывность есть постоянно возобновляющееся противоречие; это вовсе не гладко протекающий процесс, это постоянное столкновение противоположных сил, ударов и контрударов. При одной непрерывности, понимаемой как продолжение прежнего, оставаться нельзя. Непрерывность неминуемо должна быть углублена диалектически. Фактически она всегда переходит в диалектику в моменты решительных сражений и их кризисов.

Хотя применение диалектического метода в военном деле требуется и диктуется так сказать природой самого предмета, но все же нельзя не оговориться, что пользование им требует весьма критического к себе отношения и известной дисциплины ума и воли. В самом деле, действие по контрасту является до известной степени законом, свойственным человеку. Мы легко переходим от одной крайности к другой, мы легко акцентируем и подчеркиваем начало и конец всякого процесса, середина как бы выпадает, не замечается. Наши представления легко связываются по контрасту, белое приводит в память черное, примеры величайшей доблести вызывают воспоминания примеров большой низости.

Диалектике свойственна известная тревога и изменчивость, но значит ли это, что мы должны быть мало постоянными и стойкими? Хотя много писалось против предвзятости в военном деле, но совершенно понятно, что без известной предвзятости вообще нельзя провести ни одной операции; нельзя всегда и во всем покорствовать лишь изменившимся обстоятельствам, как бы сильно они на нас

ни воздействовали; нужно стоять на своем, нужно упорствовать, стараться сломить сопротивление более, чем уступать ему.

Переход к противоположности свойственен не только последовательной мысли, но также и мысли слабой, аффективной и истеричной. В особенности стремление к контрасту легко обнаруживается при каких-либо внезапных, непредвиденных обстоятельствах. Мы склонны переоценить их значение, не замечаем, что в сущности ничего не произошло особенного, в корень изменяющего дело; какой, например, эффект произвела германская тяжелая артиллерия, в сущности мало наносящая потерь, на воображение союзников? У Гаскуэна очень ярко сопоставлены переходы в противоположность французской тактики, нисколько фактически не обоснованные.

Из моего изложения однако должно вытекать, что психологическое действие контраста отнюдь не должно смешивать с логическим методом обработки фактов и опыта.

Диалектика в правильном своем употреблении базируется не на воображении, а на требовании предмета; диалектика означает последовательность, а не разорванность мысли, ее решительность, а не трусость и пугливость.

Поэтому эти возможные возражения должны быть здесь отведены, но, с другой стороны, должны быть приняты во внимание.

Применение диалектики предполагает упорную дисциплину ума и воли, „работу понятия“, как говорил в свое время Гегель.

Этой работе можно научиться только в трудовой школе, т.-е. фактически работая, иначе сама диалектика неминуемо превратится в шаблон и пустую схему, против чего нельзя достаточно бороться в военном деле.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ:

Стр.	Строка.	Напечатано:	Должно быть:
22	7-я снизу	Эти тезисы ее	Эти тезисы ею
24	14-я сверху	Нет стратегических ошибок	Нет стратегических ошибок, говорит Клаузевиц,
31	16-я „	вскрывают	скрывают
33	17-я снизу	армии	армия
51	16-я „	стратегия утомления и стратегия сокрушения	стратегия сокрушения и стратегия измора
51	6-я „	решающему	решительному
53	12-я „	раньше	знание
53	8-я „	со всем	с весьма
63	1-я „	как подитоживание	как подитоживания
70	16-я сверху	детализирует	анализирует
72	7-я „	единственно	единство
91	16-я „	известный	известный объективный
101	15-я „	довоенного	до всякого
133	9-я снизу	лучше	лучшие
145	8-я сверху	противник	противников

б) Труды Научно-Уставного Отдела:

Мартынов, Н. И. — Царская армия в февральской революции.

Мартынов, В. И. — Корнилов (попытка военного переворота).

Наумьев и Афанасьев.—Моонзундская операция.

Фон-Поссек. — Германская кавалерия в Бельгии и во Франции в 1914 г. Перев. с нем. В. Микулина.

Фон-Поссек.—Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 г. Перевод с немецк. В. Микулина.

Корольков, Г. К.—Праснышское сражение.

Огородников.—Гражданская война. Весенняя кампания на Восточном фронте в 1919 г.

Кутепов, И.—Красная конница в пустыне.

Стахевич.—Операция III польской армии на Украине (апрель - май, 1920 г.). Перев. с польского В. Ниславина.

Григорьев, А. М.—Гражданская война. Борьба на Южном фронте в 1919 г. (январь—июнь).

Барсуков.—Стратегический очерк войны 1914—1918 г.г. Кавказский фронт.

Нацвин. — Командный состав РККА и иностранных армий.

Самойло.—Гражданская война. Борьба на Северном (Беломорском) фронте.

Войо, Г.—Форсирование реки Белая частями V армии Восточного фронта в июне 1919 года.

Бакурин, И.—Война в горах и пустынях.

Муртазин.—Башкирия и башкирские войска в Гражданской войне.

Мавлютов.—Кампания в Месопотамии.

Клюев, Л. Л.—Борьба за Царицын.

Клюев, Л. Л.—Камышинская операция X Красной армии (июль 1919 г.).

Карпов, В. К.—Организация тыла в условиях горной войны по опыту Кавказского фронта в империалистическую войну.

Добровольский, С.—Война в Марокко в 1925—26 гг.

Буевский.—Разведывательная служба конницы.

Учебник рядового бойца пехоты

Учебник рядового бойца артиллерии

Учебник рядового бойца кавалерии

Закон об обязательной военной службе.—Издание испр. и дополн. по 1 января 1927 г.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВОЙСК

(Издания Военной Типографии Упр. Дел. НКВМ и РВС СССР):

Контрольная стрелковая книжка. (Составлена IV Отделом Штаба ЛВО с учетом отзывов войск). Ц. 7 к.

Контрольная стрелковая книжка станкового пулеметчика. (Составлена IV Отделом ЛВО). Ц. 10 к.

Сокращенная контрольная стрелк. книжка для допризывников. (Составлена IV Отделом Штаба ЛВО). Ц. 2½ к.

Обучение кадровых стрелк. частей РККА. Часть II. Боевая подготовка частей в летнее время. Составлена Инспекцией Пехоты РККА. Стр. 97. Ц. 30 к.

Обучение стрелковых частей РККА. Часть IV. Занятия с начальствующим составом. Составлено Инспекцией Пехоты РККА. Стр. 124. Ц. 45 к.

Обучение граждан, окончивших рабфаки, школы II ступ., высш. учебн. заведения, находящихся на действительной военной службе в кадровых стрелковых частях РККА. Составл. Инспекцией Пехоты РККА. Стр. 24. Ц. 15 к.

Полевая книжка (в прочном и изящном переплете). Ц. 70 к.

Зуев, Д.—Тактические стрелковые планы. Комплект из 9 карт. Ц. 1 р. 80 к.

Неслуховский, К. Ф.—Топографический план для занятий по тактике и топографии при помощи губки и куска мела (4 больших листа). Ц. 8 р.

МИШЕНИ — всех образцов.

ВОИНСКИЕ УСТАВЫ И НАСТАВЛЕНИЯ 1926—1927 г.г.
В ПРОДАЖЕ—ВСЕ НАИМЕНОВАНИЯ, В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ

КАТАЛОГИ:

По первому требованию высылаются бесплатно:

- **ВОЕННЫХ КНИГ Книжных Магазинов Военной Типографии.**
- **ГРАЖДАНСКИХ КНИГ Книжных Магазинов Военной Типографии.**
- **ВОЕННЫХ НАГЛЯДНЫХ ПОСОВИЙ и ПРИБОРОВ Мастерских Военной Типографии.**

0-52

Цена 1 руб.

[illegible]

СКЛАД ИЗДАНИЙ

книжные и писчебумажные магазины Военной типографии Управл. Делами Наркомвоенмор и РВС СССР

ЛЕНИНГРАД — ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ВОЕН. ТИП.
Просп. 25 Октября, 9, телефон 3-36-09;
Маг. № 1: Пр. 25 Октября, 4, т. 5-44-76

МОСКВА — ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Арбат 21, телефон 5-79-90

Ново-Сибирск. Сиб.-Дальневосточная контора.
Красный пр., дом Промбанка

Тифлис — ул. Руставели, 10, дом Красной Армии

А. Топорков — МЕТОД ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ

41
Т58

ШТАБ РККА

НАУЧНО-УСТАВНОЙ ОТДЕЛ

А. ТОПОРКОВ

МЕТОД ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ

БИБЛИОТЕКА
ВОЕН.-ИСТОРИЧ. АРХИВА
Инв. №

ИЗДАНИЕ ВОЕННОЙ ТИПОГРАФИИ УПРАВЛЕНИЯ
1927 ДЕЛАМИ НКВМ и РВС СССР 1927

27/11